Иван Павлюков

Сказки не врут



18+

Иван Павлюков

Сказки не врут

«Автор»
2026

Павлюков И.

Сказки не врут / И. Павлюков — «Автор», 2026

Там нет связи, дорог и власти: восемьдесят семь душ, лес и сгоревшая церковь. Туда приезжают участковый, который пьёт, чтобы не слышать мёртвую дочь, беременный фельдшер и священник, давно не ждущий ответа.Деревня ждала их.Здешнее зло не пугает. Оно берёт то, в чём человек себя винит, и делает из этого вещь, которую нельзя не потрогать. Чем сильнее отвечаешь, тем плотнее оно становится.Сказки здесь не врут. Они предупреждают.Книга содержит сцены жестокости, в том числе гибель ребёнка

© Павлюков И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора 5
Пролог 6
Глава 1. Гордеев 9
Глава 2. Лиза 16
Глава 3. Священник 21
Глава 4. Пути сошлись 27
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Сказки не врут

От автора

Благодарности:
Моей жене — за поддержку, без которой не было бы этих страниц.
Моей маме — первому и самому честному читателю.
Александру Братишко — за разговор, из которого выросла эта история.

* * *

Эта книга — художественное произведение. Все персонажи и события вымышлены и не имеют прототипов; любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, случайны. Деревня, её география, названия и уклад придуманы автором.

Слова и поступки героев подчинены их характерам, а не взглядам автора. О вере они говорят от себя.

Пролог

Говорят, будто зло — людское дело, что природа слепа и безразлична. Врут.

Оно вошло в мир глубже, чем соль в морскую воду. Оно пульсирует в стволах старых деревьев, шуршит в листве даже в безветренную ночь, наполняет колодцы, где вода затянулась скользкой плёнкой, оседает в подполах и в мутном оконном стекле, которое не отмывается до конца, сколько ни три. А когда его становится слишком много, оно выходит.

* * *

Полночь отзвонила давно. Отец Никодим задул последнюю свечу в часовне, перекрестил потемневшие лики святых и вышел в ночь. Фитиль ещё тлел, роняя в темноту горькую струйку дыма; она потянулась за ним через порог и растворилась во дворе.

Деревня спала в густом тумане. На западных сопках, поросших душистыми травами, кое-где ещё горел свет. На восточной стороне, в низине у самого леса, стояла непроглядная тьма, было тихо и безветренно. Туман лежал на крышах ровно, как пар над остывающей похлёбкой, и в нём глухо, как из-под воды, отзывались собаки.

Держа в руках свёрток, что принесла ему с утра сердобольная старушка, отец Никодим спускался к реке: по влажным от росы тропам, к окраине подступающей тайги, где стоял его дом. Бельё было завёрнуто в плотную серую бумагу и перевязано суровой ниткой; от него пахло свежестью: выстиранным льном и хозяйственным мылом. Бумага отсырела от росы и размякла по углам, бельё отяжелело, но запах держался. Отец Никодим вдыхал его, не разжимая рук, и в груди становилось просторнее.

Тропа обогнула низину и пошла в лес между ольхами. Поле открылось сразу: мокрая от росы трава, межа, а в конце межи дом, весь вышедший из тумана, будто его только что поставили на место.

От прочих деревенских домов он ничем не отличался: та же серая от времени кровля, те же брёвна в моховых швах, то же окошко, вросшее в землю по самый наличник. Строил его ещё прапрадед, на краю хлебного поля, от которого остался маленький клочок, да и тот порос бурьяном. Во дворе стояли сараюшка с инструментами да покосившийся амбар, последний раз видевший зерно в позапрошлом году.

Отец Никодим ввалился в дом, кинул свёрток на скамью, снял сапоги и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Пружины под ним ответили глухим всхлипом. В доме было тепло и пусто: зола в печи ещё дышала, на столе ждала недопитая с утра кружка.

* * *

Спал он крепко, свернувшись калачиком, улыбался во сне и иногда даже похрюкивал от удовольствия.

Во сне он был молод и полон сил. Светило солнце, дул лёгкий ветер, воздух был полон сотни сладких запахов, и от леса доносилось пение. Женские голоса пели ту песню, что пели у них на свадьбе.

Грудь распирало от восторга, кровь стучала в висках в такт пению.

Он стоял у длинного стола, за которым сидела вся деревня, и жена шла к нему между скамьями, в белом, с мокрыми после бани волосами, и пела одна, потому что все замолчали и слушали. От неё пахло речной водой и мёдом.

— Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай: выбирай, кого любишь, выбирай…

Она подошла и задела его плечом, и он знал, что сейчас она велит целовать её, и все засмеются, и она тоже.

«МЯУ!»

Сон кончился.

* * *

«МЯУ!» Звук разорвал тишину так резко, что он дёрнулся.

Он вскочил с кровати, когда что-то влажное и шершавое лизнуло его пятку. Сердце ударило в рёбра, выталкивая из груди хриплый вздох. Босая ступня ещё помнила прикосновение: мокрое, тёплое, живое.

«Кошка? Васька же издох лет десять назад, я сам его закапывал».

— Кыс, кыс! — его голос прозвучал неестественно высоко, почти детским писком.

Тишина.

Потом шорох за печкой, будто кто-то ковырял когтями гнилые доски, выскребая труху. Метла упала с глухим стуком, задрожала и, цокая прутьями, как многоножка, уползла за печь.

— Эй, — хрипло бросил отец Никодим в темноту.

Ответ пришёл слишком близко, прямо в ухо, обжигая слух горячим перегаром тления:

— Исгаладал штарый… шуплый штал.

Это был её голос, он узнал бы его из тысячи: шепелявый призвук, будто язык слишком большой для рта. Так говорила его покойная жена, тихо, в самое ухо, когда хотела, чтобы он не спорил.

— Пакармлю тебя… Хлебушкам тваим лубимым. Ишпеку, — слова капали, как расплавленный воск, прилипая к барабанным перепонкам.

Отец Никодим отпрянул, ударившись спиной о стену. Лоб взмок, слюна во рту стала густой, как кисель. За печкой кто-то ждал, и это ожидание было слышно: оно дышало, шевелилось, тёрлось о кирпич.

— Так не из чего… — выронил он.

Из-за печи высунулось нечто скрипучее, одеревеневшее. Сперва он принял это за кочергу, забытую у заслонки. Потом кочерга согнулась в локте.

Это была рука. То, что от неё осталось: почерневшие кости, испещрённые сетью тончайших трещин, обтянутые полосками высохшей кожи, будто их обмотали бинтом и бинт ссохся на них навсегда. Вместо кисти к запястью приросла метла и стала её продолжением. Живые белые нити грибка тянулись от неё во все стороны и вздрагивали, как щупальца.

— А я по коробу поскребла! — голос взвизгнул, превращаясь в птичий клёкот. — По сусеку помела!

Она выползла вся: голая, длинная, как огромный паук. Костлявые конечности скребли по полу, рёбра протыкали сгнившую кожу, и в каждом её движении было слышно, как внутри перекатывается и хлюпает. Вместо глаз дымчатые шарики застывшего гноя. Они не смотрели, но он чувствовал, что она видит.

— Ща, будет тебе хлебушек!

Смех ударил по стенам, сорвался в визг. Глиняный кувшин на столе лопнул, и по половицам расползлась тёмная лужица. Стекла в окнах затянуло морозными узорами, и узоры шли от углов к середине, как трещины по льду. Мир закружился и погас.

* * *

Он очнулся на полу. Всё ещё ночь; темнота стояла такая плотная, что он не сразу понял, открыл ли глаза. Он лежал в склизкой, липкой жиже, рубаха прилипла к спине. Рядом никого не было. По крайней мере, ему хотелось в это верить.

Это был сон. Кошмар. Он упал с кровати и обделался. И не такое бывает на старости лет.

Отец Никодим попытался встать, ухватившись за край кровати. Пальцы скользили по дереву, как по салу.

«Мёртвая бабка. Приснится же такое… Хлебушек…»

И тут он почуял свежий хлеб. Тёплый, тот самый, что он любил с детства: хлеб на сметане, с травами… или нет? Он принюхался. К хлебу примешивался другой запах, кислый и мерзкий. Он крепчал, и вот уже от хлеба не осталось ничего.

В нос ударил смрад сгнившего теста, поросшего слоем плесени и грибов. За ним потянулись новые запахи: свежая кровь, сгнившее мясо, сгоревшая шерсть.

Отец Никодим с трудом оторвал спину от липкого пола. Медленно, позвонок за позвонком, поднялся, оперся о кровать. И замер. Устье печи было открыто, и оттуда, как из опрокинутой кадушки, лезло тесто и падало на пол громкими шлепками, собираясь в округлую массу. Бледно-зелёное, с пузырями, что лопались с мокрым хлопком, сочащееся чёрной вязкой жидкостью, густой, как смола, оно пахло прокисшей кашей и кровью. В складках торчали куски тел лесных зверей. Оно лезло, пока не сложилось в ком высотой с человека.

Желудок вывернуло судорожной кислой волной. Он утёр рот тыльной стороной ладони, но глаз не отвёл. Кошмар не кончился. Он всё ещё спит!

Ком зашевелился. Одна большая складка расползлась поперёк кучи, растянулась, приподняла мокрые края, и в глубине открылся рот: широкий, беззубый, с вязкими нитями по углам. Чуть выше вспухли два пузыря и лопнули разом. На их месте торчали головы: обглоданный заячий череп и сгнившая голова покойной жены. Изо рта текло чёрное, густое, отрывалось тяжёлой каплей и падало на пол, а между ртом и полом висела нить слюны толщиной в палец и не рвалась.

Это было лицо, слепленное из теста, из звериных костей, из того, что осталось от его жены. Оно было больше человеческого, и с каждым вздохом надувалось и опадало, будто дышала сама кожа. Глаза сидели высоко и косо, и в углах рта шевелились языки.

Из нижней складки вырвался стон, влажный и булькающий, и в этом стоне он различил слово. Масса заколебалась и поползла в его сторону, оставляя на полу мокрый след.

Губы отца Никодима беззвучно двигались в молитве, но язык прилип к небу, шершавый и огромный. Во рту пересохло.

Тварь дышала на него зловонием забродившего кваса, и с каждым выдохом мельчайшие споры впивались в лицо, как иголки крапивы, и на месте их уколов вспухали чёрные бархатистые пятна.

— Иииясссяя… — простонала рожа, и рот её растянулся до самых краёв. — Аааааат баааабшки ушоооол…

Отец Никодим взвизгнул. Тьма сомкнулась над ним.

* * *

Где-то в сотнях километров отсюда, хватая ртом воздух, резко проснулась Лиза. Комната была тёплая, обычная: никаких мертвецов, никакой печи, только слабый привкус сдобы на губах. Одеяло сползло на пол, в стекле дрожало её отражение: растрёпанная, в мокрой от пота футболке.

За стеклом моросил дождь. А в другом краю вспыхнула одинокая церковная свеча. И в тот же миг под её ладонью ребёнок впервые толкнулся в ответ, не мягким плавным движением, а резким тычком, словно изнутри по рёбрам стукнули сухим сучком.

Лиза не убрала руку. Под ладонью стало тихо, только кровь шумела в ушах. Она подождала, считая до десяти, потом ещё до десяти: ребёнок молчал, будто и не он стукнул изнутри, а что-то чужое зашло на минуту и спряталось.

— Тише, — сказала она в стекло. — Тише, маленький.

Она отошла от окна и щёлкнула выключателем. Свет из коридора лёг на пол полосой. Лиза подняла свалившееся одеяло, набросила на плечи и села на кровать, держа ладонь на животе. Дождь стучал по стеклу ровно, без порывов; на кухне гудел холодильник. Толчок не повторился. Она сидела и слушала, пока не замёрзли ступни, потом легла и оставила свет в коридоре гореть.

Глава 1. Гордеев

Сначала тишина.

Потом стук.

Капля. Ещё капля.

Они падали на металлический подоконник за окном глухо и устало: «тук… тук…», будто в темноте кто-то отсчитывал оставшиеся удары его сердца. На сорок втором он сбился и начал считать заново.

Максим Гордеев не открывал глаз.

Он знал: если откроет, мир рванётся вперёд, закружится, перевернётся, и всё, что он сдерживал внутри, вырвется наружу. А он не хотел. Не сейчас и не здесь.

Но тело не слушалось. Во рту было сухо и горько, будто за ночь он изжёвал старую газету.

Голова раскалывалась, только это была не похмельная боль. Хуже. Та самая, что жила в нём годами, а алкоголь глушил её, как вата в ушах глушит звуки. Вата промокла, и боль вернулась острая, точёная, как лезвие между глаз.

Он лежал на полу. Не на кровати и не на диване, а на голом паркете, покрытом пылью и крошками того, что вчера казалось едой. В щёку впилась хлебная корка. Спина ныла от холода и твёрдости, правое плечо онемело, будто его вывернули из сустава, и рёбра, особенно слева, отзывались на каждом вдохе. Колено промокло насквозь, и он не помнил, от дождя или от чего-то другого.

«Дрался. Опять».

Он попытался вспомнить.

Улица? Нет.

Бар? Скорее всего. Тот, где его знают по имени и не спрашивают, за что пьёт.

Пять лет он на пенсии, и раз в неделю всё повторяется: полбутылки, разговор с кем-то, кого уже нет, потом чужой кулак или своя же рука. Он знал эти утра наизусть: чужая мебель вокруг и стыд, который приходит позже боли.

В трезвом виде он слышал крики тех, кого не смог защитить. Они не стихали годами, просто иногда становились тише, и он никогда не знал заранее, каким будет этот день.

Он зажмурился. Перед глазами поплыли лица.

Жена. Шлёт воздушный поцелуй, губы сложены трубочкой, на ногте большого пальца облупился лак.

Дочка. Машет. Смеётся, и левая бровь у неё выше правой.

И третий. Тот, чьего лица он не разглядел ни разу, но голос его помнит до сих пор.

Он застонал от стыда.

А вокруг тишина.

Только дождь.

Только пульс в висках.

Только собственное дыхание, хриплое и прерывистое, будто он умирает.

Он нащупал карман джинсов. Сигареты. Последняя, помятая в двух местах. Зажигалка не работала: колёсико крутилось вхолостую, из зажигалки сыпалась чёрная пыль. Он чиркнул ещё раз. И ещё. На четвёртый вспыхнул слабый огонёк, качнулся и вытянулся, будто от сквозняка, хотя окно было закрыто.

Затянулся. Дым обжёг горло, но в груди полегчало: он снова стал человеком, а не мешком с костями.

Теперь он открыл глаза. Медленно. Осторожно.

Комната не закружилась. Не рухнула. Просто стояла вокруг, холодная и чужая: деревянные панели на стенах, широкий дубовый стол посреди, лампа под зелёным абажуром, на стене портрет президента.

— Ты же был лучшим, — говорил взгляд с портрета. — А теперь что?

Гордеев кивнул.

— Я понял, — прохрипел он. — Больше не буду…

И сам себе не поверил.

Докурив, он попытался сесть.

Сначала локти упёрлись в пол, пальцы впились в доски, будто искали последнюю опору. Потом напряглась спина, мышцы задрожали, как перетянутые струны. В голове зашумело от наплыва звуков: где-то далеко гудел чайник, скрипнула дверь, за окном залаяла собака, и каждый звук входил в висок отдельным гвоздём.

Где я?

Память возвращалась клочьями, как старая плёнка, перепачканная грязью: то кадр, то царапина, то белое пятно.

«Саня…» — подумал он.

Вспомнилось: бар, дождь, потом кабинет. Саня у двери. И его усталые, пронзительные глаза, в которых читалось одно: «Ну что, старик, допился?»

Потом коньяк. Не одна бутылка. Потом крик, его собственный. После — тьма.

Потёр лицо. На щеке запёкшаяся кровь, на губе трещина, во рту привкус железа. *Дрался не с кем-то, дрался с самим собой.*

Огляделся. Кабинет был слишком чистым для ночи, которую он провёл. Пахло бумагой, кожей и вчерашним кофе, и этот запах был здесь единственным живым. На столе ни бутылок, ни стаканов, пепельница вымыта. Только папка, аккуратно положенная по центру.

На стуле его куртка, сложенная так, будто её складывал не пьяный, а человек, который всё ещё верит: Гордеев может встать и уйти достойно. Кто-то прибирал здесь, пока он спал, и от этой аккуратности становилось хуже, чем от разгрома.

Он поднялся. Ноги дрожали, колени подкашивались, но он удержался, опершись о край стола. В зеркале напротив отразился мужчина с седыми висками и мешками под глазами, с рассечённой бровью, с хлебной коркой на щеке и взглядом пустым, как у того, кого уже похоронили.

— Ну и урод…

В этот момент открылась дверь.

* * *

На пороге стоял Александр Волков, начальник УВД области. Бывший напарник, последний человек, который ещё называл его «Макс» без горечи.

Он держал в руке две кружки. Из одной шёл пар, вторая была пустая: он держал её просто так, потому что руки надо было чем-то занять. Форма сидела на нём мешком, и по лицу было видно, что он тоже не спал этой ночью.

— Кофе, — сказал он, не здороваясь, и поставил кружку на стол, рядом с папкой.

— Чёрный. Без сахара, как ты любишь.

Гордеев не ответил. Смотрел на него, как на призрака из прошлой жизни: седой ёжик, форменный китель нараспашку, усталость в уголках рта, а на погоне пылинка, которую он так и не смахнул.

Саня вздохнул, подошёл, осмотрел его с головы до ног: разбитая губа, чужая помятая рубаха, босые ноги на холодном паркете. От этого взгляда Гордееву захотелось вытереть лицо, но руки не слушались.

— Живой, — сказал он. — Значит, можно и говорить.

Он присел на край стола, тяжело, всем телом, и столешница под ним скрипнула.

— Прошлый раз ты обещал, что больше не будешь напиваться.

— Я… — начал Гордеев и осёкся.

Что толку? Слова у него были готовы, и все они уже были сказаны не им, а кем-то другим, кто жил в его теле и врал от его имени. Этот кто-то знал нужные слова наизусть, произносил их вовремя, а потом шёл в бар.

— Да ладно, — махнул Саня. — Я знаю, что ты скажешь. «Больше не буду». Как всегда.

Он помолчал. Потом добавил тише:

— Я не могу тебя больше прикрывать. На меня и так косятся. Вчера тебя видели в баре, а сегодня утром звонили из управления.

— И что?

— И то, что я устал сочинять про тебя легенды. — Саня обошёл стол и взял папку.

— У меня есть решение. Последнее и, как мне кажется, единственное верное.

Он протянул папку. Гордеев не спешил её брать: тонкая, серая, с загнутым углом, она весила меньше бутылки.

— Я предлагаю тебе вернуться. Поработать немного, вспомнить, каково это — быть человеком.

— Зачем мне это? — Гордеев опустил взгляд на папку.

— Маленькая деревушка в глуши. Белозерье. — Саня подтолкнул папку ближе. — Участковый пункт номер семнадцать. Формально он существует, отчёты идут, а человека там нет с весны. Мужик уволился, и с тех пор туда никого не загнать.

— И ты хочешь загнать меня.

— Я хочу, чтобы ты прожил год там, где тихо. — Волков помолчал. — Восемьдесят семь душ, леса, болота, ни дорог, ни связи. Кот пропал, забор подпёрли, самогон гонят. Работы немного.

Гордеев стоял не шевелясь и молчал.

— Зарплата идёт, — сказал Саня. — Жильё при пункте. Тебе же на что-то жить.

— А если откажусь?

— Тогда я тебя больше не знаю. — Он сказал это без злобы, будто читал пункт из инструкции. — И хоронить тебя буду не я.

Волков сдвинул папку, и она легла криво. Направился к двери. Остановился.

— Я не хочу, чтобы тебя хоронили как алкаша, который умер в канаве. Я хочу знать, что мой друг прожил до глубокой старости.

— Зачем? — прохрипел Гордеев.

Волков постоял в дверях, глядя на него так, будто хотел сказать ещё что-то и передумал.

— Кофе… выпей. Полегчает.

И вышел.

Гордеев остался один.

Он посмотрел на кружку — пар поднимался и таял под потолком. Потом на папку.

Взял кофе. Горячий. Горький. Живой. Горло обожгло, и впервые за неделю ему не захотелось закурить. Он держал кружку обеими руками и смотрел, как дрожит на тёмной поверхности тонкая плёнка.

Сделал ещё глоток, допил до гущи. Поднял папку и, не оглядываясь, вышел из кабинета.

* * *

Квартира пахла затхлостью, той, что оседает в углах, когда годами не открывают форточки. Пыль, плесень, немытая посуда.

Гордеев вошёл. Дверь закрылась с глухим щелчком, и в прихожей стало ещё тише.

Он постоял, вслушиваясь. Ни детского смеха за стеной, ни голоса жены. Только тишина, которую он годами глушил алкоголем.

В гостиной на полу стояли пустые бутылки, три у дивана и одна у окна, будто её поставили и забыли унести. На столе пепельница, полная окурков, на подоконнике пыль такая толстая, что по ней можно было писать пальцем. Он провёл полосу и посмотрел, как она блестит в сером свете: под пылью подоконник оказался белым.

Но взгляд зацепился за другое: за фотоальбом на книжной полке. Он лежал не так, как лежат вещи, к которым годами не прикасаются: ровно, обложкой вверх, и с него была стёрта пыль.

Он подошёл и открыл.

Первая страница: он в новом мундире, молодой, с улыбкой, которой больше не будет, и воротник жмёт ему даже на снимке. Жена в белом, с глазами, полными будущего, держит его под руку чуть крепче, чем нужно.

Последняя: дочка в тринадцать лет, с косичками и мороженым в руке, и капля стекает по пальцам. Смеётся и не знает, что это её последнее лето.

Он смотрел и переворачивал страницы, и под пальцами шуршала старая бумага. Боль уже не резала. Она осела.

Потом он заметил лису. Плюшевую, с одним ухом, под диваном, в комке пыли. Ту самую, что дочка носила повсюду, даже в школу. Он нагнулся, поднял, провёл пальцем по вытертому носу.

— Прощай, лисичка, — беззвучно шевельнул губами и положил её обратно в пыль, будто оставлял на давно забытой могиле.

На кухне стояла бутылка «Белуги», наполовину полная. Его любимая.

Он взял её. Рука тяжелела, наливалась свинцом старой слабости. Стекло было холодным и липким от пыли, и вкус вспомнился раньше, чем он открутил пробку.

Он поставил бутылку обратно. Ровно на тот же круглый след в пыли, и рука ещё секунду не разжималась.

Не выпил. Смог не выпить.

В спальне он достал из шкафа старый армейский рюкзак, потрёпанный, но крепкий, пахнущий брезентом и дальней дорогой.

Бросил смену белья, тёплую фланелевую рубашку, ту, что жена подарила на Новый год, фонарь, складной нож, а в самый низ, под всё, старую кожаную кобуру. Потрескавшуюся, но ещё держащую форму. Пистолета в ней не было два года.

Он подумал, не взять ли фотографию, и не взял. В этот рюкзак он складывал вещи, а не память.

Он застегнул рюкзак и оглядел квартиру.

Света не включал, но и в темноте видел каждую трещину на обоях, каждый след от детской ладони на двери. У зеркала в прихожей он задержался на секунду, поправил воротник и тут же отвёл глаза.

Вышел. Закрыл дверь. Не оглянулся.

Уже на лестнице, между третьим и вторым этажом, остановился. Постоял, слушая, как хлопает внизу подъездная дверь и кто-то тащит наверх тяжёлую сумку.

Потом тихо, почти шёпотом, сказал:

— Прощайте.

И пошёл вниз, не держась за перила.

* * *

Дождь не утихал с утра. Для Гордеева он давно перестал быть погодой: плотная пелена, отделявшая его от остального мира, навязчивый стук падающих капель, к которому привыкаешь, как к шуму в собственной голове.

В такси он сидел, отгородившись от водителя рюкзаком. Салон пах мокрой обивкой и освежителем, слишком сладким для такой погоды. Мир за окном оплывал: дома, фонари, чужие силуэты сходились в одно мутное пятно. Мозг, заточенный под детали, отказывался их улавливать: он ещё искал номер дома, марку машины, приметы прохожих и не находил ничего, за что мог бы зацепиться.

По радио говорили про курс и пробки, водитель напевал песню, и это раздражало сильнее, чем должно было. На зеркале висели бумажные иконки, обтрёпанные по краям, и качались в такт ямам.

В руках Гордеев держал папку. Непозволительно тонкую для дела, которое могло стать последним: скрепка на уголке, выцветшая обложка, чей-то след от пальца на сгибе.

— Набережная, пристань «Северная», — бросил он, глядя в окно, а не на водителя.

Тот кивнул, включил шашечки, и машина тронулась, сразу взяв с места резче, чем нужно. Ехать было недолго, но Гордеев успел пожалеть, что сел.

Гордеев открыл папку. Знакомый шрифт, казённые формулировки, ровные поля: безликая машина, перемалывающая чужие жизни в сухие строчки. Бумага была плотной, чуть шершавой, и от неё шёл тот же запах, что от всех кабинетов, где он когда-то служил.

«Белозерье и прилегающие территории. Участковый пункт полиции №17.

Обслуживаемые населённые пункты:

- д. Белозерье (постоянное население 87 чел.)

- д. Высокая Гора (23 чел.)

- д. Лесная Пустынь (11 чел., преимущественно лесозаготовители)

- п. Геологический (15 чел., сезонное пребывание)

- остров Старухин (необитаем, кроме летнего периода)

Примечание: все пункты связаны между собой лесными тропами и водными путями. Автодороги отсутствуют. Связь — спутниковая, нестабильная.»

«География отчаяния», — подумал он и механически пересчитал души, которые теперь формально были на его попечении: сто тридцать шесть, если считать геологов летом. Меньше, чем в одном его отделе. Тихой гаванью это не выглядело: болото, куда его списали умирать.

Он перевернул страницу. Отчёт об инцидентах читался как черновик дурного триллера, написанный человеком, который сам в него не верил.

«- 2016: исчезновение работников из Лесной Пустыни. Поиски безрезультатны.

- 2017: массовый уход скота в д. Высокая Гора. Животные найдены мёртвыми в болоте, без следов насильственной смерти.

- 2018 (май): жалобы от жителей на «ночные пения» из леса.

- 2018 (август): самовольное закрытие церкви в д. Белозерье. Священник, иерей Никодим Фёдоров, прекратил выходить на связь.»

Дальше шли пустые бланки и телефонный справочник района, истончившийся на букве «К», где его чаще всего листали.

Внизу стояло выведенное красным: «Все обращения прекратились с 16 августа 2018. Ни одного звонка. Ни одного сообщения. Канал молчания».

Красный был не типографский, а от руки: кто-то обвёл строчку дважды и продавил бумагу. Восемьдесят семь человек молчат с августа. В деревне так не бывает: там всегда кто-нибудь на что-нибудь жалуется, хотя бы на соседа.

Гордеев закрыл папку, и картон обложки щёлкнул. В горле встал знакомый ком: не алкоголь, служба. Привкус дела, от которого разум советует бежать и которое поэтому не отпускает.

— Бред, — отрывисто выдохнул он. Но где-то в глубине, под слоем апатии, шевельнулся холодный цепкий интерес, тот, что когда-то делал его лучшим.

Такси свернуло на набережную. Серая вода сливалась с небом, и чайки висели над ней, не взмахивая крыльями. У причала качался старый катер, и одинокая фигура на корме казалась частью этого уныния, как и сам дождь.

Расплатившись, Гордеев вышел под ледяные струи, сразу промочившие плечи. Куртка, ещё хранившая тепло машины, отяжелела за десять шагов. На секунду он обернулся. Город с огнями и суетой оставался там, за пеленой дождя, за невидимой стеной, и казался чужим, будто он смотрел на него из другой жизни.

Он шагнул вперёд, к лодке.

* * *

Дождь хлестал по лицу, будто пытался смыть с него последние следы города. Под ногами хрустела галька, у бетонной плиты плескалась вода, радужная от солярки. Гордеев подошёл к лодочнику: старик в промасленном плаще, лицо в глубоких морщинах, руки в трещинах и чёрных точках старой смазки.

— В Белозерье? — спросил он, прижимая папку к куртке.

Старик кивнул, не глядя.

— Ждём ещё одного. Минут десять. — Он махнул в сторону обшарпанного здания с вывеской «Речной вокзал». — Там укройся. Уже сидит одна, девчушка в длинной юбке.

Гордеев кивнул и пошёл.

За спиной плеск воды, скрип причала и бормотание старика, обращённое к реке: целый монолог о погоде, омутах и о том, что рыба теперь пошла не та.

Вокзал оказался грязноватой коморкой, застывшей в прошлом веке: касса с затянутым паутиной окошком, расписание в рамке, где последнюю правку делали года три назад. Воздух спёртый, тяжёлый, из сырого дерева, речной ржавчины и многолетнего безлюдья, как в заколоченном сарае. В луче серого света из заляпанного окна плясала пыль. И в этом полумраке, у дальней стены, на скамье, с которой давно слезла краска, сиял необъяснимый островок покоя.

Девушка.

Молодая, в длинной тёмной юбке и бесформенной серой кофте с капюшоном, наброшенным на голову. Под грубым балахоном угадывалась округлость живота. Она сидела прямо, держала на коленях книгу по анатомии, на голове наушники, взгляд в страницу. Руки лежали на обложке, ногти коротко стрижены, на безымянном пальце пусто. У ног стоял рюкзак с оторванной лямкой, перехваченной узлом, и рыжий чемоданчик, обтянутый кожзамом, с двумя латунными замками. Рядом лежала синяя сумка на ремне.

И всё.

Этого хватило, чтобы на минуту рассечь пелену его мира. Не потому, что она была красива, а потому что в её позе, в этой погружённости в чтение, была та нормальность, которую он давно в себе похоронил.

В этом дожде, в этой глуши она читала, будто сидела в университетской библиотеке.

Он заставил себя отвести взгляд, и реальность схлопнулась, вернув ему тяжесть.

Привычка быть одному. Ему не с кем было разговаривать и нечего было сказать, и он уже не помнил, когда это стало удобным.

Он прошёл к окну, достал сигареты: пачка пустая, только крошки табака в углу.

Чёрт.

Вышел обратно под дождь, зашагал к ларьку у причала. Купил самые дешёвые, в синей пачке. Выбил сигарету о ноготь, прикурил, прикрывая огонёк ладонью, хотя дождь на минуту стих и ветра не было. Стало слышно, как вода бьёт под сваями.

Из-за поворота дороги показались двое: лодочник и мужчина в чёрном.

Священник.

Не по одежде, по осанке. По тому, как он держал чемодан: пальцы обхватили ручку ровно, рука не болталась, будто он нёс чужую тяжесть, а не свои вещи.

Лицо усталое и спокойное, глаза внимательные, будто уже видели всё, что можно увидеть. Дождь задевал его, но стекал как-то иначе, не задерживаясь.

В папке было написано: «иерей Никодим Фёдоров, прекратил выходить на связь». Видимо, этот священник едет по тому же вопросу, но спросить Гордеев не успел. Ехать с ним в одной лодке предстояло ещё несколько часов.

— Ну, пошли! — крикнул лодочник. — Все на месте!

Гордеев бросил окурок в лужу, и тот зашипел. Вернулся в вокзал. Девушка уже сняла наушники, закрыла книгу, встала и откинула капюшон. Тёмные волосы выбились из небрежного пучка, и на виске остался след от резинки.

Они встретились взглядами на секунду. Без слов и без улыбки. Только усталость и вопрос: *кто ты?*

На причале было скользко. Лодка качалась у края, будто дышала, старик грузил чей-то ящик, и в ящике что-то перекатывалось.

Девушка пошла по мокрым доскам, придерживая юбку и глядя под ноги: чемоданчик несла в руке, синяя сумка висела у неё на плече. Старик подал ей руку.

— Осторожно, тут порожек.

Она шагнула на борт и села на скамью у борта, поставив рюкзак между колен, а чемоданчик и синюю сумку пристроив у ног.

Гордеев посмотрел на реку: серая вода, лес за поворотом, чёрный, непроходимый.

Он шагнул на борт следом. За ним священник.

Мотор завёлся со второго раза, чихнул, выбросил синий дымок и потянул лодку вниз по течению. Он чадил бензином, с мокрого борта капало, и в лодке держался рыбный дух. Старик у руля говорил сам с собой, про то, что раньше по этой воде ходили пароходы; никто ему не отвечал, и он не ждал ответа.

Гордеев сел на корме, спиной к городу, положил рюкзак между колен. Девушка устроилась на скамье напротив, книгу положила на колени, поверх живота, и прижала ладонью, будто придерживала страницы от ветра. Священник встал у борта, взялся за поручень и смотрел в воду, и его чёрное пальто на фоне тёмной воды было почти неразличимо.

— Издалека? — спросил Гордеев, сам не зная зачем.

Девушка не сразу поняла, что это к ней.

— Из города, — ответила она, не поднимая глаз.

Больше никто не говорил. Под килем шуршала вода, дома на берегу уменьшались, пока не сошлись в серую полосу и не исчезли. Впереди река сужалась, лес подступал к самой воде, чёрный, без единого просвета. Ветер донёс оттуда запах хвои и мокрой земли, и этот запах был холоднее дождя.

Гордеев прикрыл глаза и снова увидел дочку с мороженым в руке, каплю на пальцах и солнечный свет сбоку. Потом открыл и посмотрел на чужой живот, на книгу, на руки без кольца.

Он отвернулся к воде и переложил рюкзак, чтобы тот не съезжал с мокрой скамьи. Папку положил сверху, раскрыл, но буквы расплывались в мелкой ряби, и он закрыл её, не прочитав. Ладони были липкие от дождя; он вытер их о колени, тронул рассечённую бровь — на пальце осталась бурая полоса.

Глава 2. Лиза

Тётя мыла пол в прихожей, хотя пол был чистый. Лиза слышала из комнаты, как тряпка шуршит по линолеуму, останавливается, шуршит снова, и по этому шороху понимала, где тётя стоит. Так она делала всегда, когда не знала, что сказать. Набирала в ведро воды, хотя вода была чистой, выкручивала тряпку до хруста в запястьях и тёрла линолеум, пока не находились слова. Слова находились редко, и линолеум блестел, как в больнице.

В комнате на полу стояли собранные сумки: синяя, с молнией, рыжий чемоданчик и рюкзак с оторванной лямкой. На кровати Лиза разложила одежду, три стопки: две кофты, одна серая, с капюшоном; длинная тёмная юбка и тёплые штаны; носки, сложенные попарно. Лиза пересчитала стопки, будто от этого что-то зависело, и сверху положила книгу по анатомии с загнутыми уголками.

— Ты не обязана, — сказала тётя из коридора. Она стояла в проёме с тряпкой в руке, рукава халата подвёрнуты выше локтя, и с тряпки капало на вымытый пол.

— Знаю.

— Я просто сказала, что программа есть. Мало ли. Люди едут.

— Тётя.

— Что?

— Я не спорю.

Тётя поджала губы и ушла на кухню. Загремел чайник, звякнула крышка сахарницы, что-то мягко стукнуло о стол. Лиза села на край кровати, на свободное место, и положила ладонь на живот. Под ладонью тянулась тугая волна, будто кто-то изнутри проводил по натянутой ткани кулаком. В квартире было тепло, пахло подгоревшим молоком, от кухонного полотенца тянуло валерианой, и от этой смеси её мутило третью неделю подряд. Тошнота стояла в горле, как прогорклое масло, и не проходила ни днём, ни ночью.

Тётя вернулась с двумя чашками. Одну поставила на стол, другую держала в руках, забыв, зачем несла. У обеих был отбит край.

— Ты бы хоть врачу сказала, что едешь, — проговорила она. — Там же фельдшерский пункт, развалюха. Тебе рожать в декабре.

— В январе.

— Тем более.

— Я сказала. Мне разрешили.

Тётя посмотрела на неё поверх чашки, и Лиза отвела глаза. Врач в женской консультации долго листала её карту, потом сняла очки и сказала: «Рожать будете там?» Лиза кивнула. Врач вздохнула так, будто уже видела всё, что должно было случиться, и выписала направления на анализы, которые в Белозерье сдавать было негде. Бумажка с направлениями лежала у Лизы в кармане куртки, сложенная вчетверо, и она проверяла её на ходу, как проверяют ключи.

— Я тебе деньги положу. В синюю сумку, в боковой карман. Не спорь.

— Не надо.

— Надо. — Она поставила чашку на подоконник, между горшком с геранью и коробкой конфет, которую никто не открывал с Восьмого марта, и вытерла ладони о халат. — Лиза. Я двадцать восемь лет в процедурном. Я знаю, сколько стоит молоко и сколько стоит молочная смесь. И я знаю, сколько платят медсёстрам.

— Там подъёмные, — сказала Лиза. — Я поэтому и согласилась.

— Половину, — сказала тётя и усмехнулась одними губами. — А другую половину ты как получишь? Тебе год там жить.

— Ну вот и проживу год.

Они замолчали. За окном кто-то во дворе волок по асфальту сумку на колёсиках, и грохот стоял в комнате дольше, чем нужно: колёса подпрыгивали на стыках плит, сумка подпрыгивала за ними. Лиза считала удары и не могла остановиться, пока звук не ушёл за угол.

— Мать твоя тоже говорила «проживу», — тихо сказала тётя.

— Тётя.

— Молчу.

Она сняла с полки аптечку, жестяную, с выцветшим до розового красным крестом, и поставила перед Лизой на стол. Руки у неё были узловатые, в синих венах, с коротко стриженными ногтями: такими удобно держать чужую руку, пока в неё входит игла. Защёлка поддалась с третьего раза, и из коробки пахнуло старым пластырем и камфорой. Аптечку эту Лиза знала с тех пор, как себя помнила: тётя брала её в поезд, в деревню, в санаторий, куда они ездили один раз, в её пятнадцать лет. Внутри лежали бинт, пластырь, антисептик, зелёнка в пузырьке с приклеенной бумажкой, тонометр в потёртом чехле и блистеры с таблетками, у которых давно истёк срок.

Лиза вытряхнула всё на кровать и стала проверять: сроки, крышки, целость упаковок. Руки помнили это раньше головы, как и всё остальное: как держать бинт, чтобы он не морщился, как считать пульс, как разговаривать с человеком, которому больно и который от боли говорит грубо. Просроченные блистеры она отложила в сторону. Тётя молча подвинула их обратно.

— Правильно, — сказала она наконец. — Тонометр забери. Не бог весть что, но там своего не будет.

Потом Лиза притянула к себе чемоданчик, щёлкнула замками, и в комнате запахло металлом и вазелином. Внутри, в прорезях, лежали инструменты: скальпель в футляре, два пинцета, зажимы, ножницы, иглодержатель, пуговчатый зонд. Она вынула скальпель, проверила, не шатается ли ручка, провела пальцем по футляру, положила на место и пересчитала всё по порядку, как другие пересчитывают деньги. Тётя смотрела на её руки и молчала.

— Хоть бы не понадобились, — сказала она и ушла к себе.

Вернулась с шерстяными носками, толстыми, с рыжей полосой по резинке, и грелкой в махровом чехле, похожей на приплюснутую кошку.

— Носки надень сразу, как приедешь, — велела она. — Там полы холодные, а ты в юбке.

Лиза кивнула и убрала носки в рюкзак. В коридоре часы пробили восемь, и тётя вздрогнула, будто они застали её на чём-то запрещённом. Аптечку она закрыла сама, щёлкнула защёлкой, поставила на полку, и на жести остался след от её ладони.

Ночью Лиза лежала на своей узкой кровати, держа ладонь на животе, и слушала, как за стеной тётя щёлкает пультом. Каналы сменялись через равные промежутки: тётя искала что-то, чего там заведомо не было. Полоска света из-под двери лежала на полу, и Лиза смотрела на неё, пока в глазах не поплыли круги. Кровать была короткая, ноги упирались в спинку, живот лежал тяжело, как налитый водой. Ребёнок толкнулся ещё раз, тихо, и затих.

* * *

Мать умерла в феврале, когда Лизе было двенадцать. В справке написали: острая сердечная недостаточность. В подъезде говорили короче: спилась. Никто не объяснил, как эти две вещи соединяются, и Лиза потом много лет складывала их рядом, как складывают неподходящие куски одной картинки.

Лиза вернулась из школы в половине третьего. Замок открылся легко, потому что мать никогда не закрывала дверь на второй оборот: боялась, что не успеет, если придёт кто-то свой. В прихожей стоял запах, который не спутаешь ни с чем: кислое, застоявшееся, будто в кастрюле, которую забыли на плите, перекисло и подгорело разом. На кухне капал кран, и в раковине стояла вода с ржавой каймой. Мать лежала на полу между столом и плитой, щекой на линолеуме, в халате, застёгнутом не на ту пуговицу: одна пола выше другой, и из-под неё

выглядывала босая нога с синей жилкой на щиколотке. Рядом стояла опрокинутая бутылка, из горлышка натекла лужица и уже подсохла по краям.

Лиза поставила в прихожей рюкзак со сменкой, сняла куртку, повесила её на крючок и только потом подошла. Потрогала за плечо. Плечо было холодное, а халат на нём показался чужим, слишком большим, будто мать взяла его у кого-то на время и не вернула.

Она вызвала скорую. Назвала адрес, этаж, сказала, что мама не дышит, и только потом заплакала, стоя в прихожей с телефоном в руке и глядя на своё отражение в тёмном стекле шкафа. В стекле была девочка в школьной форме, с растрёпанной косой, и плакала она не так, как плачут, когда больно, а тихо.

Тётя приехала через два часа, с сумкой и с кем-то из поликлиники. Она вошла, сняла сапоги, прошла на кухню, посмотрела и вернулась в коридор. Не заплакала, не закрыла лицо руками, только вздохнула коротко, как перед сменой, и велела тому, кто пришёл с ней, остаться у двери. Потом села рядом с Лизой на банкетку и сказала:

— Ну всё. Собирайся.

— Куда?

— Ко мне.

Больше про это в их доме не говорили. Тётя была старшей сестрой отца и работала в процедурном кабинете на Лесной. Иногда, уже потом, за ужином, она роняла что-нибудь короткое, вроде «у неё был выбор», и сразу замолкала, будто сказала лишнее.

Лиза перевезла к ней две сумки. В первую положила школьную форму, во вторую свитер, который мать носила зимой, серый, растянутый на локтях. Оставалось ещё много всякого: чашки, полотенца, фотографии в коробке из-под обуви, но тётя сказала «это потом», и «потом» так и не пришло.

Поликлиника стала её вторым домом прежде, чем она успела этого захотеть. Тётя брала её с собой, когда дежурила до восьми: Лиза делала уроки в коридоре на подоконнике, между фикусом и стопкой старых журналов, и слушала, как за дверью шумит вода, звенят лотки и кто-то негромко ругается на очередь. К восьмому классу она знала наизусть, кто из врачей пьёт чай с печеньем, а кто закрывается в кабинете и молчит до конца смены. Запах спирта и хлорки она потом всегда узнавала раньше, чем видела вывеску.

В девятом классе Лиза сказала, что пойдёт в медицинский колледж.

— Не лезь, — отрезала тётя. — Там здоровые не задерживаются.

— Ты же держишься.

— Я держусь потому, что мне в двадцать лет некому было сказать «не лезь».

Лиза поступила. К третьему курсу она перестала бояться чужих тел, но запах страха различала через дверь. На практике её поставили в родильное отделение, и она четыре часа простояла у стены с лотком в руках, пока женщина на кресле кричала так, что в ушах оставался звон. Крик шёл из неё всем телом, и после него в палате долго стояла вязкая, мокрая тишина.

Ребёнка она увидела первой, раньше, чем акушерка успела сказать «мальчик». Синюшный, скользкий, в белой смазке, с приплюснутой головой, он всё равно показался ей самым ясным, что она видела за всю свою жизнь. Она держала его на весу, мокрого и тёплого, и через пелёнку чувствовала, как в нём колотится сердце. Тогда она ещё думала, что теперь знает про это всё.

Костя учился на параллельном потоке, играл в футбол за команду колледжа и смеялся так, что на него оборачивались в столовой. У него были горячие руки, майка, пахнувшая порошком, и привычка садиться на подоконник, свесив ноги в коридор. На последнем курсе их вместе поставили на подстанцию, и они по очереди таскали в машину чемодан с укладкой: он держал за одну ручку, она за другую, и лестница в подъездах казалась короче, чем была.

Беременность она обнаружила в мае, за месяц до защиты. Тест купила в аптеке на углу, сделала его в туалете поликлиники, где тётя работала, чтобы никто не увидел, и потом полчаса

сидела на опущенной крышке, слушая, как в коридоре кто-то моет пол. Вторая полоска была бледная, но видно её было издалека, как свет в щели.

Костя сидел на подоконнике у выхода и молчал. Молчал долго, минуты две, теребя шнурок, и от этого шнурка у Лизы потом много лет сводило зубы. Потом сказал:

— Я не готов.

— Я тоже, — ответила Лиза. — Но я не могу.

Он предлагал «решить». Не настаивал, говорил тихо, будто извинялся, и в конце перевёл ей на карту тридцать тысяч, наверное, всё, что у него было: перевод пришёл без подписи, в четверть двенадцатого ночи. Она вернула деньги утром, тоже без подписи, и больше ему не писала. На защите они сидели в разных концах аудитории и оба смотрели в сторону.

Тётя узнала раньше, чем Лиза успела сказать. Пришла с работы, поставила сумку, посмотрела на неё и спросила:

— Сколько?

— Двадцать недель.

— Ну и что теперь?

Лиза пожала плечами. Она тогда целыми днями спала и не могла есть. От мыслей о том, как всё будет, её начинало тошнить сильнее, чем от запаха еды: горло сжималось, во рту появлялась металлическая горечь, и приходилось сидеть, держась за стол, пока отпустит.

Через два дня тётя принесла домой распечатку: лист А4, ещё тёплый от принтера, пахнувший тонером.

— Есть программа, — сказала она, кладя лист на стол. — Фельдшером в область. Там жильё при пункте, оклад и подъёмные. Половину сразу.

— Тётя, это дыра.

— Это деньги.

— Я не хочу в дыру.

— А в съёмную однушку с ребёнком ты хочешь? — Тётя села напротив и разгладила лист ладонью, как утюгом. — Лиза. Я тебя не выгоняю. Живи. Но я получаю двадцать восемь тысяч, и я не становлюсь моложе. Ты хочешь, чтобы я ещё десять лет вас кормила?

Лиза смотрела на распечатку. В графе «населённые пункты» стояли Белозерье, Высокая Гора, Лесная Пустынь. Она потрогала бумагу, будто от названий на ней мог остаться холод.

— Год, — сказала тётя. — Отработаешь год, получишь вторую половину и вернёшься. Я тебе с ребёнком помогу. Год, Лиза.

Она согласилась на четвёртый день, потому что тётя ни разу не спросила, что она решила, а только повторяла «год». Слово легло на своё место, как гипс на перелом.

* * *

Утром тётя вышла провожать её в халате и тапках. Сумку и чемоданчик она несла сама, хотя Лиза дважды сказала, что донесёт. До остановки они шли молча и ссорились без слов. Автобус до набережной отходил от остановки за углом. Двор был в листьях, прилипших к асфальту, и тётя шла по лужам, не выбирая, где посуше. Под козырьком с её тапок капало на асфальт, и от неё пахло хлоркой и валерианой.

— Конверт в синей сумке, в боковом кармане, — сказала тётя. — Не потеряй.

— Я его нашла ещё вчера.

— Вот и не потеряй.

Она обняла Лизу неловко, коротко, похлопала по спине, а потом всё-таки придержала за плечи и посмотрела в лицо. Она была на полголовы ниже и смотрела снизу вверх, сердито, будто Лиза была в чём-то виновата.

— Ты мне звони, — сказала она. — Там связь плохая. Залезь на горку и звони. Хоть раз в неделю.

— Позвоню.

— И носки.

— Надену.

Автобус пришёл через минуту, старый, с тёплым запахом дизеля из открывшейся двери. Водитель ждал, пока они договорят, и не сигналил. Дождь шёл всю дорогу, в салоне было тепло и мокро от чужих курток, сумку и чемоданчик Лиза поставила в ноги, а рюкзак держала на коленях, не прижимая к животу, и смотрела, как за стеклом расплываются дома: пятиэтажки, гаражи, ряд тополей в жёлтых листьях. Тётя осталась на остановке, под козырьком, маленькая в халате среди чужих курток, и стояла там, пока автобус не свернул. Только тогда Лиза отвернулась от окна.

Она вышла из автобуса, и набережная встретила её серой водой и запахом ржавчины. Пристань «Северная» оказалась бетонной плитой с двумя тумбами для швартовки, у плиты качался катер, а рядом стояла обшарпанная будка с вывеской «Речной вокзал».

Внутри было холоднее, чем на улице. Часы над кассой показывали без четверти девять, и Лиза не сразу поняла, что они стоят. Она села на скамью у дальней стены, включила наушники и раскрыла анатомию на той странице, где когда-то загнула уголок, но читала не больше минуты. Слова скользили мимо, как сквозь мокрое стекло.

Дверь открылась, и в проёме стало темнее. Вошёл мужчина в мокрой куртке, от него пахло табаком и холодом. Лиза плотнее прижала книгу к животу, будто он мог это увидеть. Он огляделся, прошёл к окну и тут же вышел обратно на улицу, под дождь.

Было видно, как он стоит у ларька, прикрывая ладонью огонёк, а из-за поворота дороги выходят двое: лодочник и мужчина в чёрном с чемоданом.

Лиза выключила музыку. Ей вдруг стало ясно, что все, кто сегодня ехал в Белозерье, уже собрались.

Он вернулся, и она закрыла книгу, сняла наушники и встала. Они посмотрели друг на друга, и ни один не улыбнулся. У него было лицо человека, который давно не спал, а у неё, наверное, лицо человека, который боится, что его спросят, зачем он здесь. Спрашивать он не стал.

На причале было скользко, доски ходили под ногой, и, когда она ступила на борт и катер качнулся, внутри у неё качнулось тоже.

Берег отходил медленно. Дома на набережной делались меньше, будто их отодвигали рукой, потом встали в одну серую линию и пропали за дождём. Впереди река сузилась, и лес вошёл в неё с обеих сторон.

Он не кончался. Сосны стояли в воде по колено, будто зашли и остановились; дальше пошли ели, и с каждым поворотом протоки лес делался выше и темнее, а небо над ним — уже, пока не осталось узкой полосы, серой, как мокрое полотно. Ветки нависали так низко, что, казалось, вот-вот заденут голову. Пахло хвоей, землёй и грибами; Лиза дышала ртом, чтобы не мутило, и всё равно чувствовала этот запах на языке.

Она смотрела на воду и думала о том, что в сумке лежит тонометр, в конверте пять тысяч, а в животе человек, которому она пока не придумала имя. Тонометр лежал в том же боковом кармане, что и конверт, и это соседство почему-то успокаивало. Она перебирала имена, пока катер шёл вдоль берега.

Лес стоял по обеим сторонам и уходил вперёд, насколько хватало глаз: ни просвета, ни крыши на холме. Через несколько часов их поездка кончится, а лес — нет. Лиза положила ладонь на живот и почувствовала, как под ней снова толкнулось, тихо и требовательно, будто напоминало о себе.

Год. Она справится за год.

Глава 3. Священник

Служба кончилась в четверть одиннадцатого. Отец Артемий понял это не по часам, а по тишине: под сводом стихло так, будто кто-то прикрыл ладонями уши.

Часы на стене у свечного ящика шли на три минуты вперёд с самой Пасхи, и он привык мысленно их поправлять. Здесь, под сводами, всегда стоял холод, который не выветривался ни летом, ни зимой, и всё было пропитано ладаном, сыростью и мокрым сукном.

Он снял фелонь, сложил по сгибу, положил на место. Полжизни он делал так каждое утро: поднимал, надевал, снимал, складывал, и руки помнили порядок вернее головы. Парча была старая, шитая по краю золотом, и золото облупилось в двух местах, а подшить так и не собрался.

Слова службы он знал, как собственное имя, и, как собственное имя, давно не слышал их. Они выходили из него ровно, без усилия: «Миром Господу помолимся», и дальше, и дальше, и он не смог бы назвать день, когда молитва стала работой.

Народу было немного: две старухи у икон, женщина с тяжёлой сумкой, мужчина в куртке, который стоял у колонны и не молился, а ждал, когда можно будет уйти. Свечи горели неровно, от сквозняка огоньки клонились в одну сторону, и воск стекал на подсвечник, застывая бородавками.

Он вышел с крестом. Мужчина в куртке приложился неловко, буркнул «с праздником» и ушёл, не дождавшись, пока Артемий скажет хоть слово. Женщина с сумкой спросила про записку о здравии, и он ответил, что можно, и назвал цену, и она достала из кошелька мелочь и пересчитала дважды, будто от этого зависело, дойдёт ли записка.

Старуха подошла последней. Пальцы она держала сложенными щепотью и не разжимала, и он ждал, пока она наберётся духу.

— Батюшка, — сказала она. — Сын не звонит. Третий месяц не звонит. Помолитесь.

— Как звать?

— Валера. Валерий.

Имя она произнесла так, будто извинялась за него.

Он кивнул и сказал то, что говорил всегда: что Господь не оставит, что материнская молитва достаёт со дна, что надо не терять надежды и подавать записку каждую субботу. Слова вышли сухими, как хлеб, забытый в шкафу с прошлой зимы, но она их слушала, кивала и вытирала глаза тыльной стороной руки, и он не решился замолчать.

Старуха ушла утешенной. Он смотрел ей вслед, на её пальто, тяжёлое от воды, и думал то, что думал последние годы: вот и всё, что я умею, — отдавать людям то, чего у меня самого нет.

Свечница гремела ключами у ящика, и это был знак, что пора. Он надел пальто, поправил на шее оба крестика, посмотрел на часы, будто видел их впервые. Без десяти. Встреча в полдень, а ехать через весь город.

Вчера его пригласили — так это называлось. Позвонили из патриархии: не спросили, может ли он и свободен ли, а сказали, когда быть. Голос был вежливый и неживой, как объявление на вокзале. Он ответил в трубку «слушаюсь», как отвечал всю жизнь, и весь вечер искал в этом звонке подвох, не находя ничего, кроме собственной тревоги.

Дождь шёл тот же, что вчера и всю неделю. Артемий шёл быстро, длинными шагами, полы пальто били его по ногам, вода затекала за воротник. На остановке под козырьком стояли люди, но он пошёл дальше, к метро: под землёй теплее, а на такси от прихода не разгонишься.

В вагоне от него пахло ладаном. Женщина с ребёнком села напротив, вдохнула и пересела на два места дальше. Мальчик смотрел на его крестики, и Артемий прикрыл их воротником.

* * *

Патриархия встретила его теплом, ковром и запахом кофе. Трубы отопления здесь гудели ровно и тихо, как большая кошка, и в этом гуле, в мягком свете ламп, в приглушённых голосах за дверями было то, чего не было в его храме: спокойная уверенность, что всё идёт как надо.

В зеркале у входа отразился высокий худой старик в мокром пальто, с серым лицом и тёмными кругами под глазами. На ковре под его ботинками осталась лужица, и он вытер её платком, пока никто не видел, а платок стал хоть выжми, и он сунул его в карман, чтобы не держать в руке.

Секретарша, сухая женщина в сером, с лицом, с которого ничего нельзя было прочесть, попросила подождать. Он сел на край кресла, положил руки на колени и стал ждать, как ждал всегда: не спрашивая, сколько ещё. Мимо прошли двое с папками, у лифта звякнул колокольчик, а часы в коридоре щёлкали громче, чем шли.

Через десять минут дверь открылась.

— Владыка вас ждёт, — сказала секретарша.

Кабинет был угловой, в два окна, и дождь по стеклу шёл так ровно, что казался частью обоев. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, на столе горела лампа под тёмным абажуром, и в её свете было видно, что на блюдце остыл чай: он стоял там давно, и поверхность подёрнулась плёнкой.

Патриарх сидел не за столом, а в кресле у окна, и руки лежали на подлокотниках, сухие и неподвижные. Он был старше, чем помнился, и меньше: белый куколь, чёрная ряса, лицо как печёное яблоко.

— Садись, — сказал он, не поднимая глаз.

Артемий сел на край кресла, как сидел в приёмной, и положил руки на колени.

Молчание длилось долго. По стеклу ползли струи, сливались, обрывались и начинали заново. Наконец патриарх повернул голову и посмотрел на него. Глаза у него были старые, выцветшие, и в них не было ни гнева, ни жалости, только усталость человека, который слишком долго носит на себе чужие дела.

— Белозерье, — сказал он. — Слышал?

— Слышал, Ваше Святейшество.

— Что слышал?

— Что церковь там закрыли, а отец Никодим перестал отвечать.

— Не закрыли. — Патриарх покачал головой, медленно, будто она была тяжёлая. — Заперли. Сами, без указа, без объяснений, без единого слова нам. А в августе она сгорела. Дотла. И с той же ночи отца Никодима не слышно.

— Пожар был?

— Был пожар. Только никто не видел ни огня, ни дыма. — Он помолчал и добавил тише: — Мы писали туда трижды. Ни ответа, ни отказа, ни слова. В районе говорят одно, в бумагах другое, а в Белозерье, я думаю, третье.

— И что мне там делать?

— То же, что делал всю жизнь. Служить. — Он поднял на Артемия глаза. — Найти, что случилось с Никодимом. И занять его место.

— Надолго?

— Пока не поймёшь. — Патриарх помолчал. — Дом при церкви есть, жилой когда-то. Сейчас в нём склад: утварь, что успели вынести до пожара. Ключи у главы поселка. Освободишь, живи. Печь есть, дрова заготовлены. Жалованье небольшое, требы твои.

— А приход?

— Прихода нет. Есть восемьдесят семь душ и лес.

Артемий кивнул. Он ждал, что ему станет страшно или хотя бы горько, и не почувствовал ничего, кроме усталости, которая была с ним столько лет.

— Как Ирина? — спросил патриарх вдруг.

— Слава Богу, — сказал Артемий и сам услышал, как это вышло: по привычке, не подумав.

Патриарх кивнул, будто другого ответа и не ждал, и смотрел на него долго, так долго, что в коридоре успели пройти и стихнуть чьи-то шаги.

— Мне говорили, что ты перестал верить.

— Я служу, — ответил Артемий.

— Вот и служи. — Патриарх поднял руку и перекрестил его коротко, будто ставил печать. — Там это будет труднее, чем здесь. Там не перед кем служить. Ты поймёшь, когда приедешь. Я не хочу говорить то, чего не знаю.

Артемий наклонился и поцеловал его руку. Рука была сухая и тёплая, как печная заслонка.

Секретарша не подняла головы, когда он проходил мимо.

* * *

Дома пахло жареным луком и маслом из лампадки, и этот запах Артемий узнавал раньше, чем поворачивал ключ.

— Ты весь мокрый, — сказала Ирина из кухни. — Снимай. Снимай, говорю, пока не простыл.

Она вышла в прихожую, вытирая руки о халат, стащила с него пальто и повесила на плечики, потрогала рукав и покачала головой. С воротника на пол натекла вода, и она вытерла её ногой, не глядя, будто делала это каждый день. Потом принесла полотенце, жёсткое, серое от стирки. Он сел на табуретку, как сидел в детстве, и стал вытирать голову, и от этого сделалось легче: в тесной прихожей, среди галош и старых пальто, дождь кончался.

— Ну? — сказала она.

Он отнял полотенце от лица.

— Белозерье, — сказал он. — Меня отправляют в Белозерье. Вместо отца Никодима.

Ирина помолчала. Потом взяла у него полотенце, повесила на крючок и разгладила на нём складку.

— Когда?

— Утром. Катер в девять. Андрей отвезёт.

— Совсем утром, — сказала она, не то спрашивая, не то подтверждая.

Он ждал, что она заплачет или начнёт говорить быстро, как умела, когда боялась, но она только поджала губы и ушла на кухню. Загремел чайник, и в его гуле стало слышно, как она достаёт чашки: одну, вторую, потом, подумав, третью, и ставит её обратно.

Он пошёл за ней и остановился в дверях. Кухня была маленькая, с одним окном во двор, где под фонарём мокла липа, и на всём здесь лежала её рука: полотенце на гвозде, клеёнка в клетку, три банки прошлогоднего варенья на верхней полке.

Вчера он не сказал ей о звонке. Пришёл, поужинал, смотрел новости и молчал, а она ни о чём не спросила — то ли почувствовала, то ли решила не спрашивать.

— Как обоснуюсь, приеду за тобой, — сказал он. — Дом там есть. Только в нём сейчас склад, утварь церковная. Ключи у главы поселка.

— Склад, — повторила она. — Значит, будешь разбирать.

— Буду.

— Ты всегда разбираешь.

Она налила чай, поставила перед ним кружку и подвинула сахарницу.

— Сушки есть. Возьмёшь в дорогу.

После чая она достала из кладовки чемодан, коричневый, с двумя ремнями и замком, который открывался, если нажать на угол. Он был из тех, с которыми ездят раз в жизни, а потом держат на антресолях, потому что выбросить жалко. В него легли две смены белья, тёплый

свитер, шерстяные носки, облачение в чехле, книги: требник, Псалтирь и ещё две, которых он не открывал лет пять, а всё равно взял.

Ирина складывала быстро, не глядя, как складывают то, что делали тысячу раз, и говорила при этом о деле: что там, наверное, сыро, что печь надо топить с вечера, а не утром, что дрова отсыревают, если лежат на полу.

Пока она ходила за нитками, он вынул из шкафа фляжку, обёрнутую в носовой платок, и сунул её на дно, под свитер, к самому углу. Церковное вино. На людях он не пил, и перед службой тоже, но в дороге без этого не мог. Фляжка была тяжёлая, и он на секунду задержал на ней руку, будто проверял, на месте ли.

— Дочь звонила, — сказала Ирина, вернувшись. — В воскресенье. У младшего зубы режутся, она не спит ночами.

— А старший?

— Старший в школу пошёл. В первый класс. Ты забыл?

Он не забыл. Он помнил, как держал его на руках в коридоре роддома, как от него пахло молоком и больницей и какой он был лёгкий, будто пустой. На холодильнике, под магнитом с видом Суздаля, до сих пор висел его рисунок: дом, дерево и три кривых человечка, из которых один был выше всех.

— Они приедут? — спросил он. — На зимние.

— Куда приедут, Артемий? Тебя же не будет.

Сказала без укора, как говорят про погоду, и от этого стало хуже.

Посуду она вымыла молча. В комнате горела только лампадка, и красное пятно от неё лежало на потолке, как зарево далёкого пожара. За стеной у соседей бормотал телевизор: там посмеялись, потом затихли.

— Артемий, — сказала она потом. — Ты мне не сказал.

— Чего не сказал?

— С чего это всё. — Она села напротив, положила ладони на стол, и он увидел, какие у неё стали руки: старые, в мелких трещинах, с коротко стриженными ногтями. — Ты веришь? В то, ради чего ты служишь.

Он молчал. При красном свете были видны его собственные руки на столе, большие, с длинными пальцами, которые всегда казались чужими.

— Ну? Я не девочка. Я с тобой сорок лет.

— Нет, — сказал он.

Она кивнула так, будто ждала этого давно и уже всё решила за них обоих.

— Тогда зачем?

— Держусь, — сказал он. — Больше не за что.

Слово осталось висеть между ними, и он подумал, что за тридцать с лишним лет в сане так и не научился говорить об этом иначе.

Она встала, обошла стол, поцеловала его в щёку и на секунду прижалась виском к его виску. От неё пахло мылом и тем тёплым, что было с ней всегда.

— Я с тобой. Куда бы ты ни поехал. А если ты перестал верить, может, и правда пора заканчивать с церковью. С верой уж как получится. Ты подумай. Там подумаешь?

Он не ответил. Она ответа и не ждала: пошла в спальню, и он слышал, как она стелет постель. Короткий вздох матраса, два стука об пол: это она снимает тапки.

Ночью он лежал и слушал, как она дышит. Дышала она ровно, будто спала, но он знал: во сне она дышит тяжелее. За окном шёл дождь, мешая думать о том, что он завтра увидит людей, о которых ничего не знает, и о том, что не спросил у патриарха самого простого: жив ли ещё отец Никодим, по его мнению, или уже нет.

В темноте у кровати стоял собранный чемодан, и на дне его, под свитером, лежала фляжка.

* * *

Дождь не кончился и утром. Артемий проснулся раньше будильника, полежал, слушая, как гудят в стенах трубы, потом встал, умылся холодной водой и побрился в прихожей, где было светлее. Воротник он застёгивал долго, будто собирался не в дорогу, а на приём, и всё не мог попасть пуговицей в петлю, а когда попал, увидел в зеркале Ирину: она стояла в дверях и смотрела на него молча.

Она собрала ему в пакет хлеб, варёные яйца, огурец и, подумав, ещё соль в бумажке. Потом сунула в боковой карман пальто фотографию внуков, ту, где они оба смеются и у младшего виден один зуб.

— На что она мне? — спросил он.

— А ты спрашиваешь.

На пороге она перекрестила его коротко, как вчера патриарх, и сказала:

— Позвони, как доедешь.

— Связь там плохая.

— Всё равно позвони.

Он кивнул, взял чемодан и пошёл вниз, и не обернулся, потому что знал: она стоит у окна и будет стоять, пока машина не свернёт за угол.

Андрей ждал внизу, в машине, и мотор работал, чтобы не мёрзнуть. В салоне было жарко от печки, на заднем стекле был наклеен бумажный голубь, а на торпеде лежала забытая рукавичка, маленькая, красная.

— Ну что, отец, в глушь? — спросил он, трогаясь.

— В глушь.

— Надолго?

— Пока не разберусь.

— А разбираться что?

— Церковь сгорела. Священник пропал.

Андрей помолчал, перестраиваясь, и дворники смахнули воду со стекла раз, другой. Вёл он обеими руками, крепко, и смотрел на дорогу так, будто она могла его подвести.

— Там связь-то есть?

— Спутниковая, нестабильная.

— Значит, раз в неделю звони. — Он свернул на набережную, и вода из-под колёс пошла в сторону. — Если что, я приеду. Дорогу найду.

— Найдёшь, — сказал Артемий и подумал, что сын говорит с ним, как он сам когда-то говорил со своим отцом: коротко, о деле, чтобы не выдать, что боится.

У поворота дороги Андрей остановил машину. Он вышел первым, обошёл её, взялся за чемодан, но отец не отдал.

— Дай я, — сказал Андрей.

— Сам.

— Упрямый.

— В отца, — сказал Артемий, и сын усмехнулся, и они на секунду стали похожи.

Пакет с едой остался лежать на заднем сиденье, и Артемий вспомнил о нём уже потом.

Машина уехала, и стало слышно воду и дождь. С чемоданом в руке он постоял на мокром асфальте, глядя, как тают в пелене задние огни, и в этот момент из-за поворота вышел старик в промасленном плаще.

— Отец Артемий? — спросил он, не здороваясь.

— Он самый.

— Ну, пойдёмте. Там уже все.

Старик повернулся и пошёл, не оглядываясь, а чемодан оттягивал Артемию руку.

В вокзале, у дальней стены, сидела девушка с книгой на коленях. По корешку Артемий прочёл: анатомия. Живот у неё был уже большой, и она придерживала его книгой, как придерживают ребёнка. Артемий подумал, что ей ехать в такую даль одной, и мысль эта ему не понравилась.

У ларька курил седой мужчина в мокрой куртке. Они посмотрели друг на друга и не сказали ни слова, потому что сказать было нечего.

На причале качалась старая лодка с облупленным бортом. Артемий перекрестился на воду коротко, как учили, и ступил на борт последним.

Мотор чихнул, и он встал у борта, взявшись за холодный поручень.

Он молился каждый день и каждый день делал это, как делают звонок человеку, который давно не берёт трубку: набираешь, слушаешь гудки и кладёшь. Гудки были ровные, длинные, без конца. Сегодня он тоже набрал, про себя, одними губами: «Отче наш, Иже еси на небесех». И услышал то же самое: гудок, в который можно вложить что угодно и не получить обратно ничего.

Слова он договорил до конца, потому что привык договаривать. Потом постоял ещё немного, глядя в воду, будто там могли ответить.

Прошёл час. Потом ещё час. Берега сделались ниже, лес плотнее, и вода потемнела раньше, чем небо.

Мужчина на корме сидел, глядя перед собой, и лицо у него было такое, будто он разговаривает с кем-то, кого нет. Артемий знал это лицо. Он видел его у людей, которые приходят в храм не за утешением, а потому что больше идти некуда.

Артемий подождал, пока лодочник отвернётся к мотору, достал из чемодана фляжку, открутил крышку и сделал два коротких глотка. Металл был холодный, вино тёплое, и оно отдавало церковью: воском, ладаном и тем сладким, что остаётся на языке после причастия. Он вытер горлышко ладонью, завинтил крышку и спрятал фляжку обратно. Облегчения он не почувствовал. И стыда тоже. Только тепло под ложечкой и то, что руки перестали мёрзнуть.

И никто не видел.

Свет уходил. Впереди, где река поворачивала, всё сходилось в чёрное. Артемий смотрел туда и думал о том, что не знает, что его ждёт за этим поворотом. И что впервые за много лет ему страшно. Не Бога, не смерти. Того, что там, впереди, ему никто не ответит.

Глава 4. Пути сошлись

Катер ткнулся бортом в мостки, и те ответили глухим стуком. Была середина сентября, и от воды тянуло холодом.

До этой минуты оба берега шли молча. Лес стоял в воде по колено, вода потемнела раньше неба, и старик у руля давно перестал бормотать про омуты. Он вёл катер, глядя вперёд так, как глядят на знакомую дорогу в потёмках, и один раз сбросил газ, пропуская под килем топляк. За кормой тянулась пенная полоса, и в ней крутилась хвоя.

Темнота разошлась сразу, будто кто-то развёл в ней щель. На столбе у мостков горел фонарь, жёлтый, тусклый, облепленный мошкой, и в его свете вода казалась не чёрной, а густой, как дёготь.

Собаки начали раньше, чем показался берег. Лай шёл с востока, из низины, где не было ни одного огня. Голоса там были глухие, тяжёлые, будто псы заходились в пустой бочке, и Гордеев сбился со счёта на пятом. Он сидел на корме, положив руки на рюкзак, и ждал, когда этот лай перейдёт в визгливый захлёб, с каким дворовые псы выкатываются навстречу чужому.

Мотор сбросил. Катер пошёл тише, вода под бортом зашуршала по-другому, и лай оборвался разом, как обрывается разговор, когда в комнату входит чужой.

На берег из темноты вышли собаки. Три, может, четыре, лохматые, низкие, на коротких лапах, и встали у самой кромки, где вода лизала гальку. Гордеев ждал, что они кинутся к мосткам с хрипом и пеной у пасти. Собаки постояли, повиляли хвостами и разбежались, будто их позвали по имени.

Ни одна не тявкнула.

«Не так встречают, — подумал Гордеев. — Так провожают».

Старик заглушил мотор, и в наступившей тишине стало слышно, как вода хлопает под сваями, как шуршит галька и как на берегу, выше, скрипнула дверь.

Лиза спала, уронив голову на плечо. Книга сползла у неё с колен и лежала на дне раскрытой, страницами вниз. От тишины она вздрогнула, открыла глаза и сразу села прямо, будто её поймали на чём-то постыдном.

— Приехали, — сказал старик. — Вылезайте, приехали.

Он бросил на мостки кольцо с верёвкой, обмотал её вокруг тумбы, и катер замер.

Свет был не только в фонаре. Выше по берегу, на взгорке, светились окна одноэтажного дома под жестяной вывеской, и в одном окне горела лампа под абажуром, а в другом мигал телевизор, синим и красным, без звука.

Дверь распахнулась так, будто её толкнули изнутри плечом. По ступенькам, через двор, к мосткам бежал мужичок в домашнем: трико с пузырями на коленях, тапки на босу ногу, телогрейка поверх майки, в руке фонарь, луч бьёт в землю и скачет.

— Вы полиция? — крикнул он ещё с крыльца. — Вы? Полиция?

— Полиция, — сказал Гордеев.

— Ага. — Мужичок закивал, часто-часто заморгал, будто в глаза ему сыпали песок. — Ага, значит, дождались. Дождались, дождались.

Он подбежал и остановился, не зная, куда девать руки: фонарь в одну, свободную в карман, из кармана обратно. Он принёс с собой холод, печной дым и мокрую шерсть.

— А вы врач? — Фонарь развернулся на Лизу, и она заслонила лицо ладонью. — Врач?

— Фельдшер, — сказала она.

— Фельдшер, фельдшер. Ну и хорошо. Оно и лучше, лучше.

За ним, отстав на десять шагов, шла старушка в махровом платке, заколотом под подбородком английской булавкой. Шла она не спеша, без суеты, и в её походке было больше уверенности, чем во всём торопливом беге мужичка.

— Фёдор Степаныч, — сказал он и на всякий случай ткнул себя фонарём в грудь. — Глава. Здешний глава, значит, я. Пойдёмте, пойдёмте, я покажу. Кто где жить будет, кто где работать. Всё покажу. Всё.

Он говорил и уже разворачивался, светя себе под ноги, и в этом свете было видно, что дорожка от мостков к дому выложена кирпичом, вдавленным в грязь, и кирпич этот клали давно и наспех.

Артемий сошёл последним, с чемоданом в руке, и поставил его на доски так осторожно, будто внутри лежало что-то живое. Степаныч обернулся к нему, и лицо у него на секунду сделалось другим: глаза перестали бегать, моргать он стал реже.

— А вам, — сказал он, — вам к Маше. Вот она, Маша. Она проводит. Тут недалеко, недалеко. По тропке. Ключи у неё, у неё ключи.

Старушка подошла, вытерла руки о платок и поклонилась не низко, а ровно, как кланяются в церкви.

— Здравствуйте, батюшка.

— Здравствуйте.

— Машей зовите, — сказала она. — Все зовут.

Голос у неё был тихий и не робкий. Так говорят люди, которым уже нечего бояться, потому что всё страшное с ними случилось раньше.

— А вы, значит, к нам вместо отца Никодима, — проговорила она и осеклась, сама не ожидая, что скажет это вслух.

Степаныч заговорил громче, торопясь заслонить её слова:

— Тропка там, тропка, да. В горку, в горку и всё. Дом стоит, стоит, я его не трогал. Ключи у Маши, я ей отдал, она там прибирает, она там всё знает. А мы, значит, вот сюда, вот сюда, в администрацию. Тут всё близко, всё близко, тут рукой подать.

Старик лодочник крякнул, вытащил из катера ящик, поставил его на мостки и сказал в сторону, ни к кому:

— Ну, с приездом.

И пошёл к своему катеру, не дожидаясь ни ответа, ни благодарности.

Гордеев смотрел мимо него, на деревню. К западу, где из темноты поднимались сопки, кое-где горели окна. К востоку лежала низина, и над ней стояла такая тьма, что нельзя было разобрать, есть там дома или только лес.

— Делится протокой, — сказал он, не оборачиваясь. — На две половины.

Степаныч на секунду замолчал. Потом закивал снова, ещё быстрее прежнего:

— Делится, делится. Да. Протокой. У нас тут всё через воду, всё через воду, дорог-то нет.

Дорожка от мостков вела в горку. Кирпич лежал в грязи вперемешку с битым щебнем, и Степаныч шёл впереди, светя фонарём то себе под ноги, то на дом, и говорил, не поворачивая головы, из страха, что его перебьют.

— Тут у нас всё рядом, всё рядом. Дом этот при совхозе ставили, при совхозе ещё, крепкий дом, крепкий. Крыша текла, я перекрыл, перекрыл прошлым годом, да.

Дом был длинный, одноэтажный, с двумя крыльцами и жестяной вывеской над средним окном. Жесть выцвела до цвета мокрого камня, и буквы на ней читались только вблизи, по выпуклостям краски: «АДМИНИСТРАЦИЯ».

— Восемьдесят семь душ, — сказал Гордеев.

— Восемьдесят семь, восемьдесят семь, — подтвердил Степаныч с такой готовностью, будто от него требовали отчёта. — Было больше, да. Было больше. Молодые уехали, кто в город, кто на север, а мы вот, мы вот.

Он распахнул дверь и пропустил их вперёд, в сени, пропахшие керосином, холодной печью и остывшей золой. Внутри стало теплее на два градуса, не больше, и это тепло сразу осело на мокрых куртках.

В кабинете горела лампа под жестяным абажуром, и в её свете было видно стол с зелёным сукном, продавленным в одном месте, сейф с облупленной краской, на стене карта района, склеенная из четырёх листов, с пометками карандашом. Над столом висел портрет, и стекло в нём было протёрто, а рама с одного угла засижена мухами.

— Здание у нас одно, одно, — заговорил Степаныч, ставя фонарь на подоконник, и луч лёг в потолок белым пятном. — А в нём три части, три. По центру я, тут у меня бумаги, печать, всё. Слева, значит, пункт ваш, полицейский, семнадцатый номер, и квартира при нём, две комнаты. Справа, справа фельдшерский, и квартира такая же. Я не обидел, не обидел никого, обеим половинам печи, обеим.

Лиза стояла у двери, придерживая живот, и смотрела на карту. Степаныч заметил и обрадовался.

— Это у нас всё, всё на карте. Вот Белозерье, вот протока, вот Высокая Гора, вот Лесная Пустынь, а это, это остров, Старухин. Летом там рыбаки, а так никого, никого.

— Кто первый? — спросил он вдруг и замер с поднятой рукой, переводя глаза с Гордеева на Лизу и обратно, и смотрел так, будто от их ответа зависело что-то большее, чем очередь.

Гордеев кивнул на Лизу.

— Девушка первая. Я покурю.

— Я могу и подождать, — сказала Лиза. Голос у неё был ровный, но она уже переступила с ноги на ногу, и было слышно, как она устала.

— Идите, — сказал Гордеев. — Мне подымить надо.

Степаныч засуетился, подхватил со стола лампу, загремел ключами в кармане телогрейки, и в сенях стало слышно, как он там что-то роняет и поднимает.

* * *

Баб Маша стояла у администрации и ждала. Руки сложены на животе, и она смотрела на Артемия так, как смотрят на человека, за которым идут не потому, что он молод или скор, а потому, что за ним вообще идут.

— Пойдёмте, батюшка, — сказала она. — Дорога неблизкая, а тропка в горку.

— Идём.

Артемий поднял чемодан, и рука у него не дрогнула, хотя в ней уже был весь этот длинный день. Уходя, он обернулся и коротко кивнул Гордееву, и Гордеев кивнул ему в ответ, и в этом кивке не было ни знакомства, ни тепла, только два человека, которые знают, что утро начнётся с одного и того же.

Баб Маша пошла первой. Её платок качался в темноте, будто белое пятно, и вскоре пятно это втянулось в проулок между избами и пропало.

Гордеев вышел на крыльцо.

Снаружи было тихо, тише, чем на воде. Комарьё висело вокруг фонаря серым облаком, билось о стекло и падало на крыльцо, и на досках уже лежал слой его, лёгкий, как пепел. С речки шёл холод, и над крышами стоял дым.

Он достал синюю пачку и закурил. Дым потянуло вниз, к доскам, и комарьё пошло за ним.

За спиной, в доме, стучали ключи, скрипела дверь, и голос Степаныча повторял: «Вот тут, вот тут, сейчас, сейчас, лампу держите, лампу».

* * *

Дверь в правую половину открылась с третьего раза: ключ входил, поворачивался на полоборота и застревал. Степаныч пыхтел, светил себе на замок лампой, бормотал под нос, и наконец железо внутри замка щёлкнуло так, будто там что-то сломалось навсегда.

— Вот. Вот он, пункт, — сказал он, пропуская Лизу вперёд. — Тут всё было, всё. Я не трогал, не трогал, вы не думайте. Только пыль, пыль.

Пахнуло сразу всем: йодом, старым деревом и мышами. Лампа осветила порог, потом стену, потом стол.

Кабинет был небольшой, теснее, чем ей представлялось. У окна стоял стол с облупленной столешницей, рядом кушетка, застеленная клеёнкой, которую успели вытереть, но не отмыть. На стене висел плакат по первой помощи, и от времени у нарисованного человека сделалось одинаково равнодушное лицо. В углу стояли весы с ржавой шкалой, у стены ширма, за ширмой угадывалась ещё какая-то мебель.

— Шкаф вот, — Степаныч поднял лампу выше. — Лекарства. Тут всё, всё было.

Лиза подошла и открыла дверцу. Стекло звякнуло. Внутри, на полках, стояли банки и коробки: йод в тёмном флаконе, зелёнка, марля, бинты, вата в бумажной обёртке, ампулы в картонных ячейках, на которых чернилами были проставлены сроки, давно перечёркнутые карандашом и обведённые заново. Она провела пальцем по полке и посмотрела на палец.

— Это всё, — сказала она негромко, будто пробуя слово на вес.

— Это всё, — с готовностью подтвердил Степаныч. — Я говорю, я говорю, что было, то и есть. Никто не брал, не брал, у нас же как, у нас никто не берёт.

На столе лежал журнал регистрации, толстый, в коленкоровой обложке, и Лиза открыла его, не садясь. Записи шли ровно, почерком человека, который писал быстро и не любил повторять. Последняя была сделана пятнадцатого августа: температура, давление, «назначено», подпись. Дальше шли чистые страницы, ровные, в голубую линейку, и их белизна была хуже любой записи.

— А фельдшер? — спросила она, поднимая глаза.

Степаныч заморгал сильнее обычного и переступил с ноги на ногу.

— Так. Так. Ну а как? — сказал он. — Мужик уволился, летом. Всё писал, писал, что одному тут невмоготу, ну и уехал. А до него, до него тётка была, старая совсем, она уж лет пять как переехала к дочери. Вот мы и ждём. Ждём, ждём.

Потом пошли дальше. Квартира оказалась за кабинетом, две комнаты, и в первой из них было теплее: Степаныч, видимо, топил здесь печь, чтобы к приезду не было совсем уж мертво. Печь стояла белая, в мелких трещинах, и от неё шёл слабый запах угара, который ещё не разошёлся по комнатам.

Железная кровать с панцирной сеткой, стол под клеёнкой в мелкий цветочек, шкаф с отставшей дверцей, на подоконнике трёхлитровая банка с водой и в ней букет сухих веток, поставленных давно и забытых. На стене висели часы с маятником, и маятник стоял.

Лиза села на кровать. Сетка прогнулась и скрипнула, пружины под ней отозвались долгим стоном.

— Всё, всё, вы располагайтесь, — заговорил Степаныч, отступая к двери. — Я сейчас, я к товарищу, к товарищу вашему. А вы располагайтесь. Вода в бочке, в сенях, я наносил. Дров, дров я принёс, у печки лежат. Печку, печку я вам показать не успел, вы уж сами, сами, там просто, там просто.

— Спасибо, — сказала Лиза.

Он кивнул три раза, повернулся и вышел, и в сенях опять зазвенело железо.

Лиза посидела, слушая, как удаляются его шаги. Потом наклонилась и стала расшнуровывать ботинок. Пальцы не слушались, шнурок был мокрый и скользил, и она долго не могла ухватить узел. Когда ботинок наконец сошёл, ступня в шерстяном носке показалась ей чужой, налитой и горячей. Она поставила её на пол, на холодные доски, и сняла второй.

К вечеру живот отяжелел, и ребёнок молчал с самой пристани. Лиза положила на него обе ладони и подождала: под ладонями было тихо, только её собственный пульс стучал в подушечки пальцев. Потом он шевельнулся, вяло, будто перевернулся во сне.

У неё отпустило внутри. Она сняла с плеча синюю сумку, поставила её на кровать, рядом положила рыжий чемоданчик и рюкзак с перехваченной лямкой, и только тогда огляделась по-настоящему.

Всё, что было в комнате, стояло здесь до неё и останется после. За год она либо привыкнет к этому столу, к этой сетке, к этой банке с ветками, либо год кончится и она уедет.

* * *

Гордеев докуривал вторую сигарету, когда понял, что стоит и считает.

Считал он не по привычке, а потому что иначе смотреть на эту темноту было нельзя: глаз сам цеплялся за то, что можно измерить. Домов внизу, вдоль воды, он насчитал одиннадцать, и ещё три угадывались по крышам, выступившим из мрака чёрными горбами. Из одиннадцати окон светилось два. Дым шёл из пяти труб, и дым был живой: ровный, чуть заметный в темноте столб, значит, печи топят давно и хорошо.

Пять труб, два окна.

Люди сидят в темноте. Не спят, потому что рано, и не жгут свет, потому что не хотят, чтобы их видели. Гордеев знал, как выглядит дом, в котором спят: в нём нет ни звука, ни движения, и труба к ночи остывает. Здесь трубы дымили, а окна были завешены.

Он бросил окурок в грязь, придавил носком и закурил третью.

Деревня лежала перед ним, как лежит человек на столе: вся видна, вся доступна, и ни одна часть её не отвечает. Протока шла посреди, узкая, чёрная, и в ней отражались два окна, растянутые в длину и дрожащие от течения. За протокой, ближе к лесу, стояла та самая низина, из которой лаяли собаки. Теперь оттуда не доносилось ни звука. Собак будто выключили.

«Так не бывает, — подумал Гордеев. — Собака лает на чужого всегда. Даже во сне».

Он поднял голову. На западе, над сопками, темнота была другой: не плотной, а мягкой, будто там за ней что-то есть. По склону двигался огонёк, маленький, жёлтый, и шёл он ровно, не петляя, вверх. Фонарь баб Маши. Значит, старуха и священник уже поднялись выше первых домов, и дорога у неё взаправду неблизкая.

А выше огонька, на самом гребне, темнело что-то ещё, крупнее домов. Церковь. Вернее, то, что от неё осталось. Гордеев смотрел на этот остов и не мог разобрать ни купола, ни креста, только рваный край стены, будто кто-то откусил её сверху.

Он достал из кармана папку, но не раскрыл. Вспомнил красную строчку, обведённую дважды: «Все обращения прекратились с 16 августа 2018. Ни одного звонка. Ни одного сообщения. Канал молчания». Восемьдесят семь человек не звонят ни в полицию, ни в район, ни в скорую. Восемьдесят семь человек не жалуются друг на друга, не пишут заявлений про заборы и собак, не просят о помощи. Так не молчит даже мёртвая деревня: за мёртвую деревню говорят те, кто приезжает за наследством.

«Кто-то же сдаёт отчёты, — подумал он. — Кто-то ставит печать. Кто-то получает зарплату».

Он посмотрел вбок, туда, где стояла администрация, и в окне кабинета увидел Степаныча: тот ходил по комнате, размахивал рукой, что-то переставлял на столе и, судя по движениям губ, говорил сам с собой.

— Сдаёт, — сказал Гордеев вслух и удивился своему голосу. — И ставит.

За протокой, на самом краю низины, где темнота была особенно густой, что-то шевельнулось. Он замер, прищурился, но глаз уже не успел поймать: там, где только что было белое пятно, теперь стояла ровная темнота. Может, столб. Может, берёза, ободранная ветром. Может, кто-то из жителей, вышел из избы и смотрит, как приезжий стоит на крыльце и курит третью.

Гордеев не отвёл взгляда первым. Он досмотрел до конца, пока сигарета не обожгла пальцы, и только тогда стряхнул её в лужу. Вода приняла её молча.

— Ладно, — сказал он. — Посмотрим, кто у вас тут не спит.

— Товарищ! Товарищ, — позвали сзади, и в дверях застучали тапки. — Вы тут? Тут, тут? Ну вот, вот, идёмте, идёмте, я покажу вашу половину.

Степаныч стоял на пороге с лампой в руке, и на его лице было написано такое старание, будто он боялся, что гость уйдёт в темноту и не вернётся.

* * *

Тропка началась сразу за проулком и пошла в гору так круто, что Артемий в первые сто шагов понял: чемодан придётся нести попеременно то в одной руке, то в другой, иначе к дому он притащит не вещи, а отёкшее плечо.

Фонарь у баб Маши был старый, жестяной, со стеклом, вымытым до прозрачности, и луч в нём стоял ровный, не косил. Она шла впереди, ставила ногу на мокрые камни без раздумий, знала каждый из них наизусть, и один раз, не оборачиваясь, сказала:

— Тут корень, батюшка, держитесь.

Корень он нашёл носком сапога ровно там, где она сказала.

Полынь хлестала по голенищам, и от неё поднималось горькое, тёплое. Трава на склоне стояла высокая, по колено, и в ней шуршало, будто кто-то шёл рядом, невидимый, в двух шагах.

— Далеко ещё? — спросил Артемий.

— Да вот оно, вот. Как на гребень выйдем, там и дом.

Изба слева от тропы была тёмная, окна забиты досками, и дверь подпёрта колом. Собака во дворе следующей избы зашлась лаем так, что зазвенело в ухе, и баб Маша сказала в темноту, негромко, без злобы:

— Шарик, ну тише. Тише, свои.

Собака тявкнула ещё раза два, потом ворчнула и замолчала.

— У вас тут собаки слушаются, — сказал Артемий.

— Всякие бывают, — ответила она и прибавила шагу.

Они шли ещё немного молча. Склон кончился, тропка стала ровнее, и впереди, за поворотом, уже угадывалось что-то большое и тёмное, выше изб.

— Маша, — сказал он. — Расскажите про отца Никодима.

Она не остановилась, но шаг у неё сбился, и фонарь качнулся.

— А что рассказывать, батюшка. Пропал.

— Как пропал?

— А вот так и пропал. — Она вздохнула долго, с причетом, будто перед молитвой. — В четверг это было. Я ему бельё носила по средам, всегда по средам, у меня так заведено. В среду принесла, как обычно, положила свёрток у часовенки, а он мне и говорит: не носи больше, Маша, и не ходи. — Она запнулась, и то, что она послушалась, до сих пор лежало на ней виной. — Я и не пошла. А в четверг Степаныч пришёл, сам не свой: дверь у него отворена, печь открыта, зола в ней тёплая, а в доме хлебом пахнет. Я ещё подумала: испёк, батюшка-то. А хлеба нет, говорит. Ни хлеба, ни крошки, ни горбушки. И его нет.

— И что вы сделали?

— Пристала к Степанычу. — Она произнесла это имя коротко, как выносят сор из избы. — А он мне: может, он к дочери. А какая у него дочь, батюшка? Никого у него нет. Никогошенько. Я его пятнадцать лет обшивала, я знаю, у кого он в праздник стакан чаю пил.

Артемий переложил чемодан в другую руку.

— Писали куда-нибудь?

— А куда писать-то? — Она обернулась, и в свете фонаря было видно её лицо, сухое, всё в мелких складках, и глаза без слёз, будто она их истратила раньше. — Писали. Я Степанычу говорила: пиши в район, пиши. Он писал, писал. А нам что ответили? — Она помолчала. — А нам ничего не ответили.

Тропка сделала петлю вокруг большого валуна, мокрого и блестящего, как спина какого-то животного.

— Вы, стало быть, теперь за него, — сказала баб Маша. — Я уж думала, никого не пришлют. Думала, так и будет стоять запертая.

— Не запертая?

— Запертая, запертая. — Она снова прибавила шагу. — Церковь-то? Огонь, батюшка. В одну ночь. Никто не видел, никто не слыхал. Утром встали, а на горе уголёк. И где вот таково было, там вот и это.

Она перекрестилась на ходу, коротко, не останавливаясь.

— А дом стоит, — сказала она погодя. — Дом-то стоит. Он его не тронул.

— Кто «он»?

Баб Маша не ответила сразу. Фонарь в её руке качнулся, и луч прошёл по траве, по кустам, по чьей-то покосившейся изгороди, и вернулся на тропу.

— А кто ж его знает, — проговорила она наконец. — Я тут живу и то не знаю. Вы, батюшка, молитесь, да смотрите в оба.

— Я всегда смотрю, — сказал Артемий.

— Вот и смотрите.

Впереди над тропой уже вставало что-то высокое, с рваным краем, и звезды в этом краю пропадали, будто их съедали.

* * *

Левая половина открылась с третьего раза, как и правая.

— Тут кабинет, а за ним квартира, — говорил Степаныч, торопясь вперёд вопроса. — Печь одна на две комнаты, я протопил с обеда, вы не думайте.

Воздух в кабинете был застоявшийся, с табачной горечью. Стол, сейф, шкаф с папками, на подоконнике серая рация с отломанной антенной, на стене карта района, та же, что в администрации, только крупнее. На окне решётка, вваренная в раму так давно, что железо проржавело по швам.

— Решётку не снимал, — сказал Степаныч, проследив за его взглядом. — А то мало ли. Народ у нас тихий, а мало ли.

Гордеев открыл шкаф. Папки стояли ровно, корешки подписаны одной рукой, и на трёх лежала такая пыль, что её можно было снять ножом. На четвёртой пыли не было совсем.

— Журнал обращений?

— Вот. На столе.

Последняя запись, сделанная чужой рукой, тоже приходилась на пятнадцатое августа: заявление от жителя, и в графе о сути стояло одно слово — стук, обведённое в кружок.

— Что за заявление?

Степаныч дёрнулся и потянулся к журналу, будто собирался его закрыть.

— Пустое дело. Мужик уезжал, написал, что в доме стучит. Дом старый, брёвна садятся.

В стене, за шкафом, коротко стукнуло. Один раз, как оседает половица. Степаныч не обернулся и не сбился ни на слове.

— Кто писал?

— Киселёв. Он с восточной стороны жил, потом уехал к сыну в город.

— В восточной части кто ещё живёт?

— Петровы, Гладышевы, ещё Фёдоровна с мужем и внучкой. Восемь домов. Мы туда лодкой либо по тропке через брод.

— Почему у них света нет?

— Так электричества нет, товарищ. — Степаныч обрадовался, будто этот вопрос был самым лёгким. — У нас от генератора: с вечера заводят, в десять глушат. По домам керосин да свечи, кто жжёт, кто нет. На западной стороне огонь держат, а в низине... — Он запнулся. — А в низине не держат.

— Почему?

— Сырость, — сказал Степаныч и посмотрел в сторону. — Керосин от сырости. Всё одно.

Гордеев запомнил: восемь домов, пятнадцатое августа, кружок в графе. С этим можно и после, а начал он с того, что в участке проверяют первым.

— Оружие?

— Не было. Как есть не было. Я вам и сейф открою, там пусто.

— Открой.

Сейф и правда был пуст, если не считать инструкции, пахнувшей типографией, и двух ржавых наручников без ключа.

— Ничего, — сказал Гордеев. — Жить можно.

Степаныч потоптался в дверях, не уходя, и лицо у него было такое, будто он хочет сказать ещё что-то и не решается.

— Товарищ. Вы уж тут... того. Вы уж не пишите в район, что у нас тихо. — Моргнул, поправился: — То есть пишите, пишите, конечно, что тихо. Так и пишите. У нас тихо.

— А если не тихо?

Степаныч посмотрел на него долгим взглядом, и глаза у него остановились.

— Тогда пишите, — сказал он. — Только кому вы напишете?

* * *

Вещи Лиза разложила за полчаса, и это оказалось единственным делом за весь день, которое получилось у неё сразу и до конца.

Две кофты на гвозди, юбку на плечики, носки парами, как раскладывала в колледже перед практикой. Одна полка осталась пустой, и от этой пустоты стало ясно, как мало она привезла. Тонометр она проверила и поставила на стол, грелку положила в изголовье, а носки с рыжей полосой надела сразу, не откладывая: шерсть оказалась колючей и тёплой, и ноги в ней сделались чужими и лёгкими.

Оставался чемоданчик. Лиза отнесла его в кабинет, поставила на полку у стола, где стояли банки с йодом, и придвинула к самому краю, чтобы был под рукой. Замки щёлкнули, крышка поднялась, и в комнате запахло металлом и вазелином, тем самым запахом, который в колледже означал, что сейчас начнётся работа. Она пересчитала инструменты по порядку, коснулась каждого и закрыла крышку.

Всё. Больше делать было нечего.

Она села на кровать и посмотрела на свои руки. Ногти обломались за день, на указательном заусенец, и она убрала его зубами, не думая. Потом вспомнила и достала тонометр, засучила рукав, намотала манжету выше локтя и накачала воздух одной рукой, придерживая трубку подбородком. Это было неудобно, манжета сползала, но она привыкла делать это сама.

Сто десять на семьдесят. Пульс восемьдесят шесть. Для двадцать четвёртой недели, после целого дня на воде и в грязи, это было хорошо. Даже слишком хорошо, и она проверила ещё раз, уже спокойнее.

Ребёнок спал. Она теперь понимала, что он спал: живот обмяк, тяжёлый и мягкий, и толчков не было, только изредка стенка живота натягивалась и отпускала. Лиза лежала ладонью на этом мягком и считала. У него уже есть свои часы: он толкался по вечерам, когда она ложилась, и затихал к полуночи. Сегодня он сбился с часов. Было неспокойно.

«Дорога, — подумала она. — Это дорога. Он устал так же, как я».

Она вспомнила, как ещё в городе, перед самым отъездом, он ударил изнутри резко, и потом долго молчал. Сейчас она умела ждать и не придумывать.

Она подождала.

Толчок пришёл в бок, слабый, будто толкнули не кулаком, а ладошкой. Потом второй, третий, и пошла икота: ровные, частые, ритмичные подскоки под ладонью, которые ни с чем не спутаешь. Лиза невольно улыбнулась и прикрыла глаза. Икота была глупостью, мелочью,

телесной случайностью, и всё же это была самая нормальная вещь, которая случилась с ней за сегодняшний вечер.

— А ты, оказывается, здесь, — сказала она.

Икота прошла. Он ещё повозился и затих.

Печка держала тепло, но к полуночи, наверное, остынет. Лиза потрогала заслонку, потом дверцу, потом чугунную плиту и поняла, что не знает, как это делается: когда закрывать трубу, чтобы не угореть. У тёти было центральное отопление, а тут всё держалось на задвижке, и от незнания этой задвижки получалось, что она может умереть во сне, сама, случайно, и никто не узнает до утра. Она решила не закрывать ничего. Пусть тепло уходит, зато голова останется на плечах.

На стене висели часы с маятником, и маятник стоял. В доме стало тихо, так тихо, что она услышала, как под полом шуршит мышь. И отлегло: в доме уже был один живой, кроме неё.

Лиза вернулась на кровать, легла поверх одеяла, не раздеваясь, и стала смотреть в потолок.

* * *

Церковь открылась не сразу, а по частям, и это было хуже, чем увидеть её целиком.

Сначала пропали звёзды. Тропка вышла на ровное место, и впереди над травой встала чернота, в которой не было ни одного просвета. Потом баб Маша подняла фонарь выше, и в жёлтом свете проступили брёвна: обугленные, короткие, торчащие в небо, как рёбра. Среди них белели камни, и один угол стены стоял целым, высокий, с куском чего-то тёмного посередине.

Артемий остановился и перекрестился.

Он ждал, что внутри что-нибудь отзовётся. Так бывало в юности, когда он входил в храм: в груди поднималось тёплое, будто где-то открывали дверь в соседнюю комнату. Сейчас не поднялось ничего. Стоял ветер, шевелил травой, и в этой траве что-то постукивало, ровно и мелко, как стучат друг о друга сухие доски.

— Вот, — сказала баб Маша и опустила фонарь. — Тут она и стояла.

Он подошёл ближе. Под ногами было мягко и сухо, будто земля здесь до сих пор не набрала влаги после того огня. Головни лежали крест-накрест, и в одном месте из-под них торчал обломок доски с остатком голубой краски. На уцелевшей стене, в том месте, где сходились две линии, угадывался лик: тёмное пятно глаз, длинная ладонь, поднятая кверху, и всё это было так закопчено, что нельзя было разобрать, кто это.

Перед стеной стояла консервная банка с песком, и в ней торчали огарки. Три свечи, одна совсем короткая, оплывшая, с фитилём, который кто-то притушил пальцами.

— Ваши? — спросил Артемий.

— Мои, — сказала баб Маша без всякого смущения. — А кто ж ещё. Я тут ставлю. В воскресенье ставлю и в праздники. А куда мне идти?

Он посмотрел на неё и не нашёл, что ответить. Старуха в махровом платке стояла среди обугленных брёвен и держала фонарь так, как держат его перед иконой, и в её лице не было ни горя, ни страха, только упрямая привычка.

— Дом-то вон, — сказала она и повернула луч в сторону.

Домик стоял шагах в тридцати, за низким пряслом, к которому когда-то крепили изгородь. Маленький, в три окна, с крышей, просевшей посередине, и трубой, из которой не шёл дым. Он был ниже церкви на голову и от этого казался прижатым к земле, будто прятался.

Они прошли через прясло. Возле крыльца лежала перевёрнутая тачка без колеса, у стены стояла бочка, полная дождевой воды, и в ней плавали листья. На двери висел замок, тяжёлый, амбарный, и баб Маша полезла за пазуху, достала ключ на верёвке и долго вставляла его в скважину.

— Тут всё ваше, — проговорила она, отпирая. — Я уж не знала, куда это. В церкви нельзя, там заперто было, а бросить как? Я и снесла сюда, всё, что могла унести. Вот.

Дверь поддалась, и из дома пахнуло тёплым. Не сыростью, не мышами, а тёплым кирпичом и сухим деревом, и Артемий по этому запаху понял, что печь здесь топили не сегодня, а совсем недавно.

— Вы топили?

— К вечеру вытопила, — сказала баб Маша. — А потом уж на пристань пошла. Дом холодный, а вы с дороги. Простынете.

За порогом начиналась комната, и в ней негде было ступить. Ящики, коробки, узелки, свёртки, сложенные друг на друга до самого потолка. Из ящика торчал край парчи. У стены стояли подсвечники, и один, большой, лежал плашмя, как подстреленный. В углу темнело кадило, и рядом с ним валялся мешок с чем-то тяжёлым. Здесь держались ладан, старая ткань и та сладкая пыль, что остаётся в вещах, которые годами не трогали.

И ещё пахло книгой. Она лежала сверху, на ящике, раскрытая, в переплёте, потрескавшемся по корешку, и баб Маша, увидев, куда он смотрит, сказала:

— Это я не знала, куда. Это уж вы.

Артемий протянул руку и закрыл книгу. На переплёте, под слоем пыли, угадывались буквы.

— Тепло тут, — сказал он. — Спасибо, Маша.

— Тепло, — согласилась она. — Я дров принесла, в сенях лежат. И суп я вам оставила. В кадушке, на столе. Он не остыл ещё, если сразу с дороги. — Она помолчала и прибавила, будто оправдываясь: — Мне не в тягость.

* * *

В потолке была трещина, длинная, изогнутая, и Лиза смотрела на неё, пока трещина не сделалась похожа на реку с одним рукавом.

— Вот мы и приехали, — сказала она тихо.

— Тут, значит, и будем жить. Видишь, какой дом? — Она приподняла голову, будто могла показать ему комнату. — Тут печка. Тут окно. Тут, если голову повернуть, шкаф.

Она говорила шёпотом, чтобы не казалось, что она разговаривает сама с собой, и всё равно это был разговор с собой: в доме не было никого, кто мог бы её услышать, кроме мыши под полом.

— Мне дадут работу, — сказала она. — Настоящую. Я буду ходить по домам с сумкой. У меня будет тонометр. У меня будет всё, что надо. И нам с тобой будут платить.

Ребёнок шевельнулся, и она замолчала, прислушиваясь.

— Ага, — сказала она. — Ты слушаешь.

Она нашла под ладонью что-то твёрдое, маленькое, круглое, и нажала. Твёрдое ушло вглубь, живот натянулся и тут же отпустил, и в ответ пришёл медленный, ленивый толчок: не мешай.

Лиза засмеялась, коротко, неожиданно для себя, и звук вышел странный, как хлопок в пустом доме.

— Это пятка, — сказала она. — Я тебя нашла.

Она лежала и перебирала имена. Таня, Оля, Аня, Софья. Оля было слишком просто, Софья слишком нарядно для этого дома. Таню — отвергла сразу — так звали её мать. Она перебирала их, как перебирают вещи в чужом шкафу: это не моё, и это не моё, а вот это, может быть.

— Ты не обижайся, — проговорила она. — Я пока не знаю. Но я придумаю.

В доме что-то стукнуло, коротко, в сенях, и Лиза замерла. Потом услышала, как ветер прошёл по крыше, шевельнул что-то железное, и стук повторился. Она выдохнула.

— Это ветер, — сказала она, и опять не поняла, кому: себе или ему. — Тут всё стучит. Тут всё старое.

Она повернулась на бок, подложила под голову локоть. Живот лежал на кровати тяжело, и от этого всё внутри сместилось, и ребёнок ещё раз толкнулся, уже сильнее, требовательно.

— Знаю, — сказала Лиза. — Мне тоже страшно.

Она не собиралась говорить это вслух. Слова вышли сами, и в них было облегчение пополам со стыдом, будто она призналась в чём-то, чего от неё никто не требовал.

— Не в этом дело, — сказала она, и это была правда. — Я не боюсь, что ты будешь голодный. Я не боюсь, что тут холодно. Я боюсь, что не сумею. Что я буду смотреть на тебя и ничего не почувствую. — Она помолчала. — Такое бывает. Я видела. Мать меня, наверное, тоже сначала хотела.

Ладонь на животе была тёплой, и под ней опять шло шевеление, не толчок, а медленное перекатывание.

— Ты не думай, — сказала Лиза. — Я тебя не отдам. Никому.

Она услышала, как это прозвучало, и улыбнулась в темноте, горько и удивлённо: она сама не знала, что скажет это именно так.

Потом села. Голод всё-таки взял своё: с утра, из-за дороги, она не ела ничего. Она достала из синей сумки печенье в целлофане, которое сунула ей тётя, положила три штуки на стол, села на край кровати и стала есть, откусывая понемногу, и в комнате сухо и громко хрустело.

— Теперь у нас есть всё, — сказала она в потолок. — Дом, работа и печенье.

Оставалось то, о чём она думала весь день и о чём не решалась думать. Рожать здесь.

Она посчитала, как считала на практике, где всё решалось в минутах. Двадцать четыре недели. В январе рожать. Значит, у неё шестнадцать недель. За шестнадцать недель можно многое: обойти дома, узнать, кто чем может помочь, обустроить угол в кабинете, привезти то, чего нет. Можно узнать, куда идёт зимой дорога и идёт ли она вообще. Можно написать в район и потребовать ответа.

Она пересчитала всё это по порядку, как раскладывала инструменты, и от того, что получилось много пунктов, стало спокойнее.

Завтра. Завтра она встанет, наденет халат и пойдёт представляться.

Лиза легла обратно, натянула одеяло до подбородка. Сон не шёл. В доме стучало, шуршало, поскрипывало, и каждый звук надо было опознать, прежде чем отпустить: ветер, мышь, половица, железо на крыше.

* * *

Степаныч ушёл в десятом часу, и Гордеев, проводив его до двери, постоял в сенях, слушая, как за стеной он ходит и бормочет. Потом вернулся в комнату и сел на кровать.

Стены были оклеены обоями, выцветшими до цвета чая, и на них светлели прямоугольники: там висели фотографии, а обои под ними не выгорели. Четыре штуки. Один большой, три маленьких. Гордеев посмотрел на них и отвернулся.

Он выложил вещи на стол, по одной, как выкладывают изъятое. Смена белья. Фланелевая рубашка, которую жена подарила на Новый год. Фонарь. Нож. Кобура легла последней, и он постоял над ней, глядя на потрескавшуюся кожу. Пустая кобура на чужом столе. В ней не было ничего, кроме формы, и форма эта ничего не держала. Он сунул её в ящик и задвинул.

Рация не щёлкнула даже. Телефон не находил сети, сколько он ни поднимал его к форточке. Он всё равно набрал номер, приложил трубку к уху, и в трубке было тихо, как в доме.

— Ну и ладно, — сказал он.

Он закурил в форточку. Внизу, в одной избе, светилось окно, завешенное красной тряпкой, и свет сквозь неё шёл глухой, как сквозь ладонь. Гордеев смотрел на него и ждал, что почувствует хоть что-нибудь: злость, интерес, страх, тот холодный цепкий азарт, с которым

когда-то брал дела. Не чувствовал ничего. Внутри было ровно и пусто, как в комнате, из которой вынесли мебель.

«Приехал отдыхать, — подумал он. — Год тишины».

Он докурил, закрыл форточку, прикрыл заслонку наполовину, по привычке, оставшейся с той жизни, о которой не любил вспоминать, и лёг поверх одеяла, не снимая ботинок.

* * *

Выносить начали с угла, где стояли ящики, и баб Маша взялась за дело так, будто ждала этого полгода.

— Это на двор, — говорила она, хлопая ладонью по крышке. — Тут битое, тут газеты, это уж ни к чему.

— А это? — спросил Артемий про свёрток в углу, затянутый шпагатом.

Баб Маша размотала шпагат, развернула холстину и охнула:

— Плащаница. Я её вынесла, когда они церковь-то запирали. Думала, не пропадёт.

— Не пропадёт, — сказал Артемий. — Церковное в угол, под образа. Мусор на двор.

Работали молча: он носил тяжёлое, она разбирала мелкое. Один свёрток оказался тяжёлым, и внутри была книга, толстая, в кожаном переплёте, с закладками из сухих стеблей.

— Это тоже уж вы, — сказала баб Маша.

К третьему часу комнаты стало видно. В жестяной коробке, что нашлась под ящиками, лежали свечи, все до одной оплывшие сверху, будто их держали в тепле. На стене висел календарь, криво, на одном гвозде, и последний оторванный лист остался на августе: число крупное, красное, а внизу мелко, поперёк, карандашом: «К Маше за бельём».

— Это он писал, — сказала баб Маша от двери. — Его рука.

Артемий не стал снимать календарь.

Когда вынесли последний ящик, баб Маша вытерла руки о платок и оглядела комнату, будто только что вымыла в ней пол.

— Ну вот. Жить можно.

— Можно, — согласился Артемий. — Спасибо вам, Маша. Без вас я бы тут до утра сидел.

— А чего мне, — сказала она. — Я тут всё одно мимо хожу.

Она накинула на голову платок, взяла фонарь и пошла к двери, и на пороге остановилась.

— Батюшка. — Она помолчала. — Вы уж тут не как он. Не ночуйте в поле.

— В каком поле?

— А вот в этом, — сказала она и кивнула куда-то в сторону окна, где была темнота и больше ничего. — Он всё в поле ходил. Говорил, там легче.

Она ушла, и её фонарь долго ещё качался в темноте, удаляясь вдоль заборов.

Артемий закрыл дверь на засов, постоял, прислушиваясь. Дом был тёплый. Печь, которую баб Маша вытопила к вечеру, держала жар и до сих пор отдавала его кирпичом, ровно, без треска. Пахло сухим деревом и хлебом, и от этого запаха в груди стало тесно.

На столе стояла глиняная кадушка, накрытая чистой тряпицей, и рядом лежала деревянная ложка. Суп был ещё горячий. Артемий поел, сколько смог, и понял, что не сможет больше ни говорить, ни думать, ни разбирать. Ложку вымыл, кадушку накрыл тряпицей.

Постель была застелена на кровати, и бельё на ней оказалось свежим, накрахмаленным, пахнущим льном. Артемий постоял над ней секунду. Понял, для кого это бельё стирали и гладили. Потом снял сапоги, лёг и накрылся с головой.

«Вот я и здесь, — подумал он. — Может быть, здесь мне ответят».

Он не успел ни испугаться этой мысли, ни удивиться ей: сон взял его сразу, как берут в охапку, и унёс в тёмное, тёплое, без снов.

* * *

В десять стих генератор, и свет погас разом.

Гордеев лежал в ботинках, с открытыми глазами, и слушал, как темнота обживается вокруг. Сначала было слышно электричество, которого уже не было: тонкий звон в ушах, привычный, как шум в собственной голове. Потом прошло и это. Осталась вода: где-то за домом она падала в бочку, ровно, через равные промежутки, и по этим промежуткам можно было считать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.